



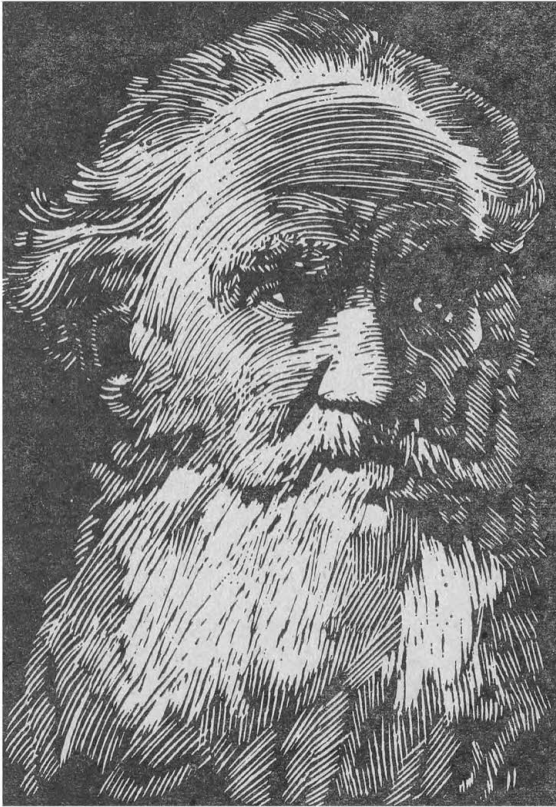
Л. Н. ТОЛСТОЙ

# Повести и рассказы



Scan Kreyder - 07.06.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





Л.Н. ТОЛСТОЙ

Повести и  
рассказы

*Редакционная коллегия:*

*Бикчентаев А. Г., Паль Р. В., Рахимкулов М. Г.,  
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Хамматов Я. Х.,  
Чванов М. А.*

Составление, предисловие и комментарии  
М. Г. Рахимкулова и С. Г. Сафуанова

- Толстой Л. Н.**  
Т53 Повести и рассказы. Составление, предисловие  
и комментарии М. Г. Рахимкулова и С. Г. Сафуано-  
ва. Уфа, Башкирское книжное издательство, 1979.  
336 с. (Серия: Золотые родники)

Л. Н. Толстой неоднократно приезжал в башкирские степи и глубоко интересовался Башкирией. В книгу включены произведения великого русского писателя, связанные с Башкирией, а также такие повести и рассказы, как «Метель», «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат», «Поликушка» и другие.

Отдельный раздел составили письма Л. Н. Толстого из башкирских степей.

70301 — 72  
Т М121 (03) — 79 102—79

P1

## «БАШКИРЫ МЕНЯ ЗНАЮТ И ОЧЕНЬ УВАЖАЮТ...»

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой был одним из наиболее ценимых В. И. Лениным художников слова. С чувством высокой национальной гордости В. И. Ленин говорил о нем как о гениальном, «матером человецище», творчество которого явилось «зеркалом русской революции», шагом «вперед в художественном развитии всего человечества»<sup>1</sup>. Автор «Войны и мира», «Анны Карениной» и «Воскресения», по словам А. М. Горького, «с изумительной правдивостью, силой и красотой» дал «итог всего пережитого русским обществом за весь XIX век»<sup>2</sup>. В творчестве Толстого нашли разностороннее отражение существенные стороны жизни многих народов России. В его рассказах и письмах ярко запечатлена также башкирская действительность пореформенной эпохи.

Л. Н. Толстой неоднократно бывал в башкирских степях и долгие годы общался с башкирами. Первая его поездка к башкирам относится к 1862 году. Тогда здоровье Толстого было сильно расшатано, и доктор Андрей Евстафьевич Берс, будущий тесть писателя, посоветовал ему ехать на кумыс в башкирские степи. Толстой решил последовать совету врача и, смеясь, говорил своим знакомым: «Не буду ни газет, ни писем получать, забуду, что такое книга, буду валяться на солнце брюхом вверх, пить кумыс да баранину жрать! Сам в барана обращаюсь, — вот тогда выздоровлю!»

27 мая 1862 года Л. Н. Толстой приехал в Самару и оттуда направился в башкирское кочевье на речке Каралык, в 130 верстах от

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 19.

<sup>2</sup> М. Горький. Избранные литературно-критические произведения. М., 1954, стр. 99, 100.

города. Ездивший вместе с писателем его яснополянский ученик В. С. Морозов впоследствии вспоминал, что все башкиры, от старого до малого, полюбили Толстого: он умел находить общий язык и со стариками, и с молодежью, шутил и смеялся, принимал участие во всех башкирских играх.

В первый приезд Толстой пробыл на Каралыке полтора месяца, здоровье его за это время значительно улучшилось, и в середине июля он выехал в Москву.

В последующие два десятилетия Лев Николаевич часто приезжал к башкирам, с интересом изучал быт и фольклор народа. Вторично на Каралык Толстой приехал 15 июня 1871 года. В тот же день он писал своей жене Софье Андреевне (урожденной Берс), что «башкирцы» его узнали и приняли радостно. В том же письме он с огорчением сообщал, что у башкир «совсем не так хорошо, как было прежде. Землю у них отрезали лучшую, они стали пахать и большая часть не выкочевывает из зимних квартир».

Однажды Толстой приехал на Каралык с сыном Ильей. «Мы ходили в степи смотреть башкирские табуны, — вспоминал Илья Львович. — Папа похвалил одну буланую лошадь, а когда мы собирались ехать домой, то эта лошадь оказалась привязанной около нашей оглобли». А вот как тепло отзывается писатель об одном старике-башкире: «Бабай, караульщик бывший на бахчах, караулит у дома и ездит на старом мерине, Турсуке, за мукой. Это милейшее 70-летнее дитя природы. Поет песни татарские тонким голоском всю ночь и барабанит в лад в старое ведро. «Ведро ж... кончал», как он говорит».

Дружбу с башкирами Толстой сохранил на многие годы. Более двадцати лет поддерживал он связь с Мухаметом Рахматуллиным, приготовлявшим ему кумыс. Писатель любил играть в шашки с башкиром Хаджимуратом. Степан Андреевич Берс, шурин Толстого, писал о своих «Воспоминаниях о графе Толстом»: «На Каралыке Льва Николаевича больше всех развлекал шутник, худощавый, вертлявый и зажиточный башкирец Хаджимурат, а русские его звали Михайлом Ивановичем. Он удивительно играл в шашки и обладал несомненным юмором. От плохого произношения русского языка шутки его делались еще смешнее. Когда в игре в шашки требовалось обдумать несколько ходов вперед, он значительно поднимал указательный палец ко лбу и приговаривал: «большой думать надо». Это выражение заставляло смеяться всех окружающих, не исключая и башкир, и мы долго потом вспоминали его в Ясной Поляне».

Великий русский писатель называл Башкирию «одним из самых... благодатнейших краев России». В письме к поэту А. А. Фету он писал: «Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что



выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности по простоте и неспорченности народа... Если бы начать описывать, то я исписал бы 100 листов, описывая здешний край и мои занятия». В одном из писем к жене Лев Николаевич сообщает о своем намерении побывать в Уфе. «Поездка же в Уфу интересна мне потому, — пишет он, — что дорога туда идет по одному из самых глухих и благодатнейших краев России». Однако его планам не суждено было осуществиться.

В первой половине июля 1872 г. Толстой приезжал на несколько дней в хутор на Таналыке. Летом следующего года он отдыхал на этом хуторе с семьей. 22 июня 1873 г. он писал критику Н. Н. Страхову: «Мы живем в самарской степи... первобытность природы и народа, с которым мы близки здесь, действует хорошо и на жену и на детей».

В голодные 1873 и 1874 годы Л. Н. Толстой оказал большую помощь самарским крестьянам и башкирам. Он выступил со страстным «Письмом к издателям», в котором изложил собранный им материал о страшном голоде в этих краях. Выступление великого писателя произвело большое впечатление: в пользу голодающих было собрано 1887 тысяч рублей и 21 тысяча пудов хлеба. Толстой и сам оказал значительную материальную помощь голодающему населению.

Летом 1875 г. Лев Николаевич снова с семьей отдыхал в башкирской степи. 20 июня Софья Андреевна писала сестре Т. А. Кузминской, что Толстой «отпивается кумысом, пропасть ходит», что «он здоров, загорел до черноты; конечно, ничего не пишет и проводит дни или в поле, или в кибитке башкирца Мухаметшаха». Зная любовь башкир к конским состязаниям, Толстой решил устроить скачки с ценными призами. Весть об этом быстро облетела окрестные деревни, и в назначенный день съехалось несколько тысяч башкир, татар, киргизов, уральских казаков и русских крестьян. Хорошо подготовленные, эти скачки превратились в большой праздник. Собравшиеся, участники и зрители, два дня пировали, пили кумыс, ели баранину, конину. По вечерам устраивались борьба и другие состязания, в которых принимал активное участие и Толстой. Он любил слушать башкирскую музыку, особенно его восхищало горловое пение.

В башкирские степи писатель приезжал и в последующие годы. Так, летом 1881 г. он около двух недель жил на хуторе на реке Моче, левом притоке Волги.

В 1883 г. он около месяца прожил на хуторе на Таналыке, навещая и своих знакомых башкир на Каралыке. К этому времени относится переход Толстого на позиции патриархального крестьян-

ства. Это была последняя поездка писателя в Поволжье. Однако связей с этим краем он не порвал: в голодный 1892 г. сюда приезжали его сын Лев Львович и биограф писателя П. И. Бирюков. По просьбе Толстого они организовали около двухсот столовых, в которых кормились десятки тысяч голодающих крестьян.

В 1900 году по поручению Толстого в башкирские степи ездил слуга писателя Иван Зябров. Башкиры хорошо помнили писателя, много о нем расспрашивали и говорили: «Мы любим графа. Он добрый человек. Дай бог ему долго жить. Когда приедешь, скажи так: «Башкиры кланяются».

\* \* \*

Богатые впечатления о башкирах, накопленные за время пребывания в самарских степях, а также вакханалия расхищения башкирских земель и лесов послужили Толстому благодатным материалом для создания ряда произведений, в том числе рассказов «Ильяс» и «Много ли человеку земли нужно». В них писатель реалистически отразил ряд характерных черт из жизни, быта и фольклора башкир.

Рассказ «Много ли человеку земли нужно» написан в 1885 году, но мысль о создании рассказа появилась у Толстого гораздо раньше — в 1871 году. Замысел зародился, с одной стороны, под впечатлением чтения в подлиннике Геродота, с другой — под впечатлением жизни Толстого в башкирских степях, приведшей к знакомству с фольклором, патриархальными нравами и обычаями народа, в котором он увидел сходство со скифами Геродота. В 1871 г. Толстой писал Софье Андреевне: «Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа».

Развитие и своеобразное толкование обычая, описанного Геродотом и имевшего место и среди башкир, является центральным в рассказе Толстого; в нем он видит определенный ответ на вопрос, поставленный в заглавии. У скифов (да и у других народов) продажа и покупка земли происходила следующим образом: покупатель должен был в течение определенного времени, обычно с восхода до заката солнца, обежать или объехать землю, которую он хочет купить. И так как человек не может унять своих желаний, то иногда этот обег и объезд кончается смертью.

В рассказ «Много ли человеку земли нужно» входят три момента сюжета-предания о покупке земли, записанного Геродотом: сон, пробег и смерть перед самым концом пробега, в рассказе Толстого также есть эти три момента, но сочетание их представлено в ином изложении, чем у Геродота. Это дает основание предполагать, что

писатель внес коррективы, сообразуясь с местным, башкирским, звучанием предания. Кстати, сюжеты, аналогичные описанному в рассказе Толстого, и поныне бытуют как среди башкир, так и среди русского населения Башкирии. Во времена же Толстого, когда дешевая распродажа башкирских земель достигла своего апогея, легенды, разоблачающие различные формы расхищения, надо полагать, имели широкое распространение. (Не исключена также возможность обратного воздействия: рассказ Толстого, проникнув в народную среду, мог олегендариться и бытовать затем как фольклорное произведение.)

В рассказе «Много ли человеку земли нужно» Толстой разоблачает мошеннические приемы ловких людей, «дельцов», при помощи всевозможных подарков, чай и вино, расхищающих природные богатства Башкирии. Герой рассказа Пахом возмечтал захватить за небольшую плату громадный участок земли: столько, сколько он успеет обежать от восхода до заката солнца: «Только один уговор,— говорит башкирский старшина Пахому: — если назад не придешь к тому месту, с какою возьмешься, пропали твои деньги».

Даже дурное предзнаменование — сон, в котором Пахом видит самого себя мертвым, — не может удержать его. С восхода солнца начинается изнурительный бег.

Описанное с большой художественной выразительностью, это событие происходит на лоне благодатной природы степной Башкирии. Соблазн был слишком велик, земля — воплощение богатства — слишком хороша, а кулак Пахом хотел занять ее как можно больше, но жадность погубила его: он умер, захватив лишь «три аршина» земли.

Надо сказать, что вообще отмежка приобретаемой у башкир земли (об этом писали Г. И. Успенский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Д. Н. Мамин-Сибиряк и другие) отличалась фантастическим мошенничеством. Не мог к этому остаться равнодушным и Л. Н. Толстой. По утверждению Виктора Шкловского, отзвуки о хищении башкирских земель нашли место и в романе «Анна Каренина».

В рассказе же «Ильяс» (1885) явственно сказалась реакционная идея Толстого «непротивления злу», смирения перед судьбой. Богатый башкир Ильяс и его жена Шам-Шемаги находят душевный покой только тогда, когда, вконец обнищав, становятся батраками другого бая, соседа Мухаметшаха. Сравнивая свою прошлую зажиточную жизнь, полную беспокойства и боязни за накопленное добро, с настоящей, они находят, что только освободившись от бремени богатства, приобрели подлинное счастье. В рассказе проводится мысль о возможности мира между эксплуататорами и эксплуатируемыми.

Необходимо отметить, что в рассказах «Ильяс» и «Много ли человеку земли нужно» Толстой показывает башкир несколько упрощенно, подчеркивая их наивность, идеализируя патриархальные отношения. Кричащие противоречия писателя, глубоко раскрытые В. И. Лениным, нашли свое отражение и в этих произведениях. В них Толстой проводит одну общую идею — осуждение пагубной роли богатства: страсть к обогащению, жажда наживы приводят Пахома к гибели; лишь разорение и бедность приносят Ильясу и его жене спокойную жизнь и подлинное счастье. Эти рассказы, таким образом, проповедовали покорность, смирение перед судьбой, «непротивление злу», в них нашли обнаженное выражение наиболее слабые стороны «учения» Толстого. Для этих рассказов характерно, говоря словами В. И. Ленина, отсутствие «социологического реализма», что вело к идеализированному отношению «к действительным нуждам крестьянства, вытекающим из данного экономического развития»<sup>1</sup>.

Тем не менее эти рассказы из жизни башкир помимо своей художественной ценности сыграли значительную роль в разоблачении хищнической политики царизма, жажды наживы господствующих классов. Они будоражили народное самосознание. Не случайно царская цензура неоднократно запрещала их переиздание.

Основные события рассказа Л. Н. Толстого «За что» (1906) разворачиваются в Оренбуржье. А в основу рассказа «Что я видел во сне?» (1906) легли факты из жизни графини Веры Сергеевны Толстой, племянницы писателя, которая, как известно, вышла замуж за башкира Абдрашита Сафарова. Это расценивалось как из ряда вон выходящее событие. Писателя же прежде всего занимали не подробности изображения этого конкретного факта, а возникшие в связи с ним общие психологические проблемы.

Поездки в Башкирию пробудили у Толстого интерес к недавнему прошлому этого края. Он долго вынашивал идею создания романа, местом действия которого должно было стать Оренбуржье (Башкирия до 1865 года входила в состав Оренбургской губернии). В первой половине сентября 1876 г. Толстой выезжал на несколько дней в Оренбург. По утверждению писателя-краеведа Леонида Большакова, Толстой с интересом ознакомился с Караван-Сараем, считавшимся башкирским народным домом. В Оренбурге Толстой собирал материалы о бывшем оренбургском губернаторе графе В. А. Перовском, известном участнике Отечественной войны. Тот встал перед писателем в качестве возможного героя будущего произведения.

Судя по записи Софьи Андреевны, в марте 1877 года Л. Н. Тол-

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 2, стр. 539, 534.

стой интенсивно работал над планом исторического романа о переселенцах в башкирские степи. Переселенцев писатель хотел увязать с декабристами. К переселяющимся на восток крестьянам попадал один из участников восстания, и «простая жизнь в столкновении с высшей», т. е. с «николаевским светом» должна была лежать в основе сюжета.

В декабре 1877 — в начале января 1878 года в плане романа произошло передвижение времени действия на 1825 год, т. е. тема декабристов должна была стать центральной. Если раньше Толстой хотел показать столкновение декабристов с великосветской и либерально-дворянской средой и их разрыв со своим классом, то теперь, в связи с эволюцией взглядов писателя, главным для него становится показ того, как декабристы нашли путь к народу и стали жить его жизнью. К этому времени писатель составил конспект нескольких глав романа, в которых развил тему переселения крестьян в Оренбургский край.

Работая над планом задуманного романа, Л. Н. Толстой изучил большое количество архивных документов и дел о переселении в Оренбургский край, прочитал массу книг, слушал легенды и предания стариков. И хотя писатель собрал много материала о декабристах и о крестьянах-переселенцах, но планам его не суждено было сбыться: «оренбургский» роман не продвинулся дальше лабораторной стадии, как, впрочем, не были осуществлены и многие другие крупные работы писателя, в частности, роман из времен Петра I, в котором, как видно из планов и конспектов, также должны были фигурировать башкиры. В архиве писателя имеется такая запись: «С 1705 года башкирцы бунтуют; обвиняли уфимского комиссара Сергеева, который притеснял башкирцев при сборе с них лошадей для войска и при отыскании среди них беглых рекрутов».

Планы, конспекты и варианты исторических романов, замыслы которых возникли в связи с поездками Л. Н. Толстого в башкирские степи, показывают, какую большую роль играл в творческой биографии писателя этот край.

\* \* \*

В свою очередь башкиры также живо интересовались жизнью и творчеством гениального русского писателя. Так, современник Толстого, известный башкирский просветитель, филолог и поэт Мухаметсалим Уметбаев в своих педагогических, философских и этнографических сочинениях не раз обращался к наследию великого гуманиста. В работах «О философии», «Обучение детей счету на башкирском языке», «Просвещение» и других М. Уметбаев не только опи-

рался на философские и педагогические воззрения Толстого, но иногда и полемизировал с ним, в частности, по вопросам нравственности и воспитания, женитьбы и брака.

Башкирские писатели и ученые не раз встречались с ним как у себя на родине, так и в Ясной Поляне.

В библиотеке Л. Н. Толстого в Ясной Поляне хранится книга преподавателя восточных языков в Оренбургском кадетском корпусе Мирсалиха Бикчурина «Туркестанская область» (1872) со следующей дарственной надписью: «Его сиятельству графу Толстому в память приезда в Оренбург от автора. 1876». Кстати, Бикчурин был большим знатоком истории и духовной культуры башкир, переводчиком произведений русских писателей. Он около пятнадцати лет знал В. А. Перовского, личностью которого интересовался Толстой, и, несомненно, был интересным собеседником для великого писателя. Газета «Волжский Вестник» 28 февраля 1899 г. сообщала о том, что уфимец Арслангали Султанов, близкий друг М. Уметбаева, посетил в Ясной Поляне Толстого, долго с ним беседовал и преподнес писателю в дар изготовленный башкирскими мастерами резной кумысный ковш. Толстой подарил посланцу Башкирии несколько своих книг.

Газета «Вақыт» («Время»), издававшаяся в Оренбурге, в связи с болезнью и смертью великого писателя поместила целую серию статей. «Смерть графа Толстого, — писала газета 9 ноября 1919 года, — является большой утратой не только для России, но и всего мира. Ибо он был самым крупным писателем, самым глубоким мыслителем и самым великим философом не только России, но и всего современного культурного мира». В другом оренбургском издании — журнале «Шуро» («Совет») — в нескольких номерах была напечатана статья «Граф Лев Толстой», отмечавшая, в частности, тесные связи писателя с Башкирией.

Как видим, интерес Л. Н. Толстого к Башкирии завязался чуть ли не с начала его литературной деятельности, издание же его произведений на башкирском языке относится к более позднему времени. Распространению художественных сокровищ писателя среди башкир мешало как отсутствие в дооктябрьские годы национальной печати к книгопечатанию на башкирском языке, так и низкий уровень переводческого дела. В 1910 году В. И. Ленин отмечал, что «Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России»<sup>1</sup>. Среди нерусских народов его художественные произведения были известны еще меньше. Газета «Вақыт» в статье «Сочинения Толстого», касаясь издания переводов произведений великого художни-

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 19.

ка, отмечала, что подавляющее большинство переводов представляют сочинения философского характера, а из художественных произведений появились только рассказы «Много ли человеку земли нужно», «Ильяс» и некоторые другие, что составляет мизерную часть его замечательных творений. Газета справедливо утверждала, что «лучшим увековечением памяти Толстого явится ознакомление с его творчеством народных масс».

Подлинную популярность среди башкир творчество Л. Н. Толстого получило лишь после Октября. В 1928 году, в связи со столетием со дня рождения писателя, периодическая печать Башкирии опубликовала целый ряд статей, раскрывающих непреходящее значение Толстого в развитии мировой художественной культуры (например, статьи Г. Амина «Почему мы празднуем юбилей Льва Николаевича Толстого?» в журнале «Яныльк», Х. Усманова «Лев Толстой» в газете «Башкортостан» и др.). Исходя из ленинских оценок творчества великого писателя, авторы этих статей стремились рассмотреть деятельность Л. Н. Толстого в тесной связи с его эпохой; при анализе произведений учитывали конкретную историческую обстановку и задачи, стоявшие в период борьбы за строительство социализма. Вместе с тем в статьях больше внимания уделялось критике философских взглядов писателя и мировоззренческим проблемам, нежели раскрытию художественных ценностей его произведений.

С тридцатых годов книги Л. Н. Толстого стали издаваться на башкирском языке. Сначала появились басни и короткие детские рассказы: «Утка и Месяц», «Лисица», «Обезьяна и Горох», «Комар и Лев», «Два товарища», «Булька и Кабан», «Пожар» и другие, а затем — и более значительные: «Кавказский пленник», «Севастопольские рассказы», «Утро помещика», «Поликушка», «Крейцерова соната» и другие. Ряд его произведений включен в учебники для башкирских школ. В театрах республики с большим успехом идут пьесы Л. Н. Толстого.

Творчество великого художника оказывает большое воздействие на развитие всех литератур, в том числе и башкирской. В ряде дореволюционных басен М. Гафури заметны элементы сходства с прозаическими баснями великого русского писателя. Как отмечал сам М. Гафури, он был знаком с баснями Л. Н. Толстого и И. А. Крылова, «изумительно широко распространенными среди русского народа».

Ряд детских рассказов Л. Н. Толстого еще до Октября был включен в школьные учебники на татарском языке. Выдающийся башкирский прозаик С. Агиш, вспоминая свое детство, прошедшее в предреволюционные годы, писал: «Мы, вероятно, сможем точно ска-

зять, в каком году и даже в какой день впервые услышали имя Толстого. Но никто из нас не вспомнит, когда впервые познакомился с его произведениями. Ведь мы знали его умные, поучительные рассказы, сказки и прозаические басни уже с того момента, как начали воспринимать то, что слышали из уст наших родителей. Поэтому Л. Толстой с малых лет научил нас в самых благих целях пользоваться таким сильнейшим орудием человечества, как слово».

После Великой Октябрьской социалистической революции, когда перед башкирской литературой встала задача реалистического отражения исторических перемен, происходивших в жизни народа, многие писатели интенсивно стали изучать богатый опыт русской классики. И тогда творчество Л. Н. Толстого стало служить для башкирских писателей своеобразным мерилom художественности. Так, в предисловии к сборнику своих рассказов «На повороте» (1928) Али Карнай писал: «Этот сборник, представляющий собой букет из цветов, выросших на ниве классовых битв, пропитанной кровью смелых борцов, я посвящаю молодым коммунистам, строящим невиданную в истории свободную жизнь, и тем, кто отдал свою горячую молодость кровавой и бескровной борьбе за эту жизнь. Со временем из этих букетов мы сотворим для человечества замечательный памятник в честь великого поворота — создадим «Войну и мир» пролетарской литературы...»

Традиции гуманизма, правдивости и справедливости, присущие творчеству Толстого, были унаследованы башкирскими писателями еще на заре возникновения профессиональной литературы.

Положительные результаты творческой учебы у автора «Войны и мира» и «Анны Карениной» особенно ощутимы в башкирских романах, созданных после Великой Отечественной войны. В них заметно стремление сочетать масштабность изображения исторической действительности с глубоким психологическим анализом героев. История, по утверждению известного литературоведа Б. Бурсова, интересует Л. Н. Толстого «в первую очередь с точки зрения проверки историческими событиями человеческих характеров, характера русского народа в целом»<sup>1</sup>. Следуя традициям великого русского писателя, авторы башкирских исторических и историко-революционных романов также в первую очередь подвергают «проверке историческими событиями человеческие характеры».

Не только в широких прозаических полотнах, но и в ряде драматических произведений башкирских писателей события из прошлой жизни народа послужили, как и в книгах Л. Н. Толстого, проверке

---

<sup>1</sup> Б. Бурсов. Лев Толстой и русский роман. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1963, стр. 54.



человеческих характеров и характера всего народа. Скажем, в трагедиях народного поэта Башкирии лауреата Государственной премии СССР Мустая Карима «В ночь лунного затмения» и «Салават» нет исследования конкретных исторических событий; картины далекого прошлого башкирского рода нужны автору главным образом для постановки таких важных философских проблем, как духовное величие человека и свобода личности, отношение героя и тирана и т. д. Еще много лет назад роман «Анна Каренина» натолкнул Мустая Карима на размышления о путях освобождения человека от духовного рабства. В 1951 году в газете «Кызыл Башкортостан» Мустай Карим писал, что в обществе, основанном на угнетении человека человеком, где все взаимоотношения подчинены условностям, ложным правилам и законам, не может быть истинной свободы души, свободы действий и поступков, и человек, стремящийся освободиться от оценки духовного рабства, непременно оказывается перед пропастью. Именно такая проблема стала впоследствии центральной в его трагедии. «В ночь лунного затмения», освещающей события тех далеких времен, когда в башкирских кочевьях господствовали феодально-патриархальные порядки, и догмы шарията, религиозные каноны, выдуманные и установленные самими людьми, оказывались сильнее светлых стремлений человека.

Наиболее ощутимо творческое осмысление толстовских традиций мы видим в прозаических произведениях башкирской литературы о Великой Отечественной войне. В книгах Толстого-баталиста башкирских писателей особенно привлекает правдивость в описании трагических событий и раскрытии психологии человека на войне, яркое изображение героического и возвышенного в самых будничных ситуациях, органическое переплетение великого и низменного, радости и горя.

Автор нескольких книг о Великой Отечественной войне А. Бикчентаев пишет: «У меня тоже есть свои кумиры среди военных писателей. Это — Лев Толстой и Антуан де Сент-Экзюпери. Некоторым покажется странным, что я их ставлю рядом. Да, они для меня очень близки, несмотря на то, что они так не похожи и... так схожи между собой: оба они беспощадно правдивы и честны не только по отношению к другим на войне, но и к самим себе»<sup>1</sup>.

Стремление создавать близкие и гуманистическому духу творчества Л. Н. Толстого произведения, в свою очередь, приводит писателей к продолжению его эстетических, художественных принципов, хотя в башкирской литературе и нет непосредственного использования образных средств великого художника. Воздействие гения

---

<sup>1</sup> «Вопросы литературы», 1965, № 5, стр. 23.

Л. Толстого гораздо значительнее: оно в росте эпического начала башкирской реалистической литературы, в углублении психологизма, проникновения во внутренний мир героев, в раскрытии диалектики души.

...Более ста лет назад Л. Н. Толстой писал из Башкирии: «Меня здесь все башкиры знают и очень уважают». Разумеется, это было сказано по конкретному случаю и о тех людях, с которыми он близко общался. В ту пору среди башкир было мало образованных людей, действительно знавших Толстого-художника и ценивших его замечательные произведения. Сегодня же мы с чувством законной гордости можем сказать, что Толстого действительно знают и уважают во всей нашей многонациональной стране.

**М у р а т Р а х и м к у л о в, С у ф и я н С а ф у а н о в**

# ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

---

## МЕТЕЛЬ

### I

В седьмом часу вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле Войска Донского, около Новочеркаска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алешкой уселся в сани. За станционным домом казалось тепло и тихо. Хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки, и небо казалось чрезвычайно низким и черным сравнительно с чистой снежной разниной, расстилавшейся впереди нас.

Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить вбок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать, струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет смотрителя не ездит лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой.

— Не заблудиться бы нам? — сказал я ямщику. Но, не получив ответа, яснее предложил вопрос: — Что, доедем до станции, ямщик? Не заблудимся?

— А бог знает, — отвечал он мне, не поворачивая головы, — вишь, какая поземная расходится: ничего дороги не видать. Господи-батюшка!

— Да ты скажи лучше, надеешься ты довести до станции или нет? — продолжал я спрашивать. — Доедем ли?

— Должны доехать, — сказал ямщик и еще продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром.

Ворочаться мне не хотелось, но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть Земли Войска Донского, казалось очень невесело. Притом же, несмотря на то что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то не ямская — большая, раскачивающаяся в разные стороны; да понукал он лошадей не так, как следует, а держа вожжи в обеих руках, точно как лакей, который сел на козлы за кучера, и, главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилась и как будто не обещала ничего хорошего эта серьезная, сгорбленная спина, торчавшая передо мною.

— А по-моему, лучше бы воротиться, — сказал мне Алешка, — плутать-то что веселого!

— Господи-батюшка! вишь, несет какая кура! ничего дороги не видать, все глаза залепило... Господи-батюшка! — ворчал ямщик.

Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал вожжи Алешке неловко выпростал ноги из сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу?

— Что? куда ты? сбились, что ли? — спрашивал я; но ямщик не отвечал мне, а, отвернув лицо в сторону от ветра, который сек ему глаза, отошел от саней.

— Ну что? есть? — повторил я, когда он вернулся.

— Нету ничего, — сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги, и, медлительно опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами.

— Что ж будем делать? — спросил я, когда мы снова тронулись.

— Что ж делать! поедem, куда бог даст.

И мы поехали тою же мелкой рысью, уже, очевидно, целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту.

Несмотря на то что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро; заметь низовая все усиливалась, и сверху начинал падать редкий сухой снег.

Ясно было, что мы едем бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба.

— Что, как ты думаешь, — спросил я опять ямщика, — доедем мы до станции?

— До которой? Назад приедем, коли дать волю лошадям: они привезут; а на ту вряд... только себя погубить можно.

— Ну, так пускай назад, — сказал я, — и в самом деле...

— Стало, ворочаться? — повторил ямщик.

— Да, да, ворочайся?

Ямщик пустил вожжи. Лошади побежали шибче, и хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменился, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать.

— А надясь так-то в заметь обратные с той станции поехали, — сказал он, — да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спасибо еще, к стогам прибились, а то бы все чисто позамерзли — холод был. И то один ноги позаморозил, — так три недели от них умирал.

— А теперь ведь не холодно и потише стало, — сказал я, — можно бы ехать?

— Оно тепло-то тепло, да метет. Теперь взад, так оно полегче кажет; а метет дюже. Ехать бы можно, кабы кульер али что, по своей воле; а то ведь шутка ли — седока заморозишь. Как потом за вашу милость отвечать?

## II

В это время сзади нас слышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас.

— Колокол кульерский, — сказал мой ямщик, — один такой на всей станции есть.

И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычай-

чайно хорош; чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотничье заведение: три колокольчика — один большой в середине, с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной, глухой степи.

— Пошта бежит, — сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поравнялась с нами. — А что дорога? проехать можно? — крикнул он заднему из ямщиков; но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему.

Звук колокольчиков быстро замер по ветру, как только почта миновала нас.

Должно быть, моему ямщику стало стыдно.

— А то поедемте, барин! — сказал он мне. — Люди проехали — теперь же их следок свежий.

Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две след был виден ясно; потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями, а скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти; как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и, наконец, дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались, ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу; но все тщетно. Я тоже пошел было раз посмотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось; но едва я с трудом сделал шагов шесть против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные белые слои снега и дорога мне виднелась только в воображении, — как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алешка!» — но голос мой — я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были саней, — саней не было, пошел направо — тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, да-

же немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямщик!», тогда как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной, свихнувшейся набок шапкой вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням.

— Еще спасибо — тепло, — сказал он, — а морозом хватит — беда!.. Господи-батюшка!

— Пускай лошадей, пусть везут назад, — сказал я, усевшись в сани. — Привезут? а, ямщик?

— Должны привезть.

Он бросил вожжи, ударил три раза кнутиком по седелке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотничий колокольчик и еще два; но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотничьим колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по двое ямщиков, слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица.

Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними».

### III

Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону.

— Вишь, черт косоглазый, не видит: куда воротит — на людей. Черт! — принялся ругаться хриплым, дребезжащим голосом один невысокий ямщик, — старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бранить моего ямщика.

Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади и ямщик скрылись в белой мгле метели.

— Васили-ий! давай сюда буланого, так не поймашь, — слышался еще его голос.

Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, взлез по шлее на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным галопцем скрылся по тому же направлению.

Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше.

— Как же! поймают! — сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей. — Уж коли к лошадям не пошла, значит — оголтелая лошадь, туда заведет, что и... не выйдет...

С тех пор как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что он, и скоро узнал, что земляк мне, тульский, господский, из села Кирпичного, что у них земель мало стало и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до рождества недостает и живут заработками, что меньшой брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец; что из их села каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть не ездая ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава богу, по сто двадцать рублей ассигнациями в год, из которых сто в семью посылает, и что жить бы хорошо, «да кульеры очень звери, да и народ здесь всё ругатель».

— Ну, чего ругался ямщик-то этот? Господи-батюшка! разве я нарочно ему лошадей оборвал? разве я кому злодей? И чего поскакал за ними! сами бы пришли; а то только лошадей заморит, да и сам пропадет, — повторял богобоязненный мужичок.

— А это что чернеется? — спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас.

— А обоз. Т-то любезная езда! — продолжал он, когда мы поравнялись с огромными, покрытыми рогожами возами, шедшими друг за другом на колесах. — Гляди, ни одного человека не видать — все спят. Сама умная лошадь знает: не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже езжали с рядою, — прибавил он, — так знаем.



Действительно, странно было смотреть на эти огромные возы, засыпанные от рогожного верху до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем возу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа, и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поравнялись с ней.

Проехав еще с полчаса молча, ямщик снова обратился ко мне:

— А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?

— Не знаю, — отвечал я.

— Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем. Нет, мы не туда едем, мы тоже плутаем, — заключил он совершенно спокойно.

Видно было, что, несмотря на то что он был очень трусоват, — на миру и смерть красна, — он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прехладнокровно делал наблюдения над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа; мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровная.

Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось, далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу; но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже; точно так же люди все спали под рогожами; и так же передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настораживала уши.

— Вишь, кружили, кружили, опять к тому же обозу выехали! — сказал мой ямщик недовольным тоном. —

Кульерские лошади добрые: то-то он так и гонит дуром; а наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим.

Он прокашлялся.

— Вернемся-ка, барин, от греха.

— Зачем? куда-нибудь да приедем.

— Куда приехать? уж будем в степи ночевать. Как метет... Господи-батюшка!

Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно уже потеряв и дорогу и направление, не отыскивал дороги, а, весело покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них.

— Пошел за ними, — сказал я.

Ямщик поехал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.

#### IV

Мстель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало подмораживать: нос и щеки сильнее зябли, чаще пробежала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутанья, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину: горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно, — это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди: первая — курьерская, в которой всё так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью; вторая, в которой, бросив вожжи и сдслав себе из армяка *затишку*, сидели двое и не переставая курили трубочку, что видно было по искрам, блестящим оттуда; и третья, в которой никого не видно было и, предположи-

тельно, ямщик спал в середине. Передовой ямщик, однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ощупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрякивание и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из вторых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому:

— Слышь, Игнашка! влево совсем забрали; правее забирай, под погоду-то. — Или: — Что кружишь дуром? по снегу ступай, как снег лежит, — как раз выедешь. — Или: — Вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой! вишь, чернеет что-то, столб никак. — Или: — Что путаешь-то? что путаешь? Отпряжь-ка пегого да пусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу. Дело-то лучше будет!

Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка, и когда Игнашка-передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на кульерских ездил, то и поехал бы и вывел бы как раз на дорогу.

— А наши лошади в заметь передом не пойдут, — крикнул он, — не такие лошади!

— Так не мути! — отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей.

Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не смешивался в это дело, хотя не спал еще, о чем я заключил по неугасаемой его трубочке и по тому, что когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только, когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, до-

сладно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему:

— Ну что стал опять? Вишь, найти дорогу хочет! Сказано, метель! Теперь землемер самый и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем... пошел, знай!

— Как же! небось, поштальон в прошлом году до смерти замерз! — отозвался мой ямщик.

Ямщик третьей тройки не просыпался всё время. Только раз, во время остановки, советчик крикнул:

— Филипп! а, Филипп! — и, не получив ответа, заметил: — Уж не замерз ли? Ты бы, Игнашка, посмотрел.

Игнашка, который попевал на всё, подошел к саням и начал толкать спящего.

— Вишь, с колушки как его разобрало! Замерз, так скажи! — говорил он, раскачивая его.

Спящий промычал что-то и ругнулся.

— Жив, братцы! — сказал Игнашка и снова побежал вперед; и мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнеденькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким галопцем.

## V

Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей и нашли и догнали нас; но каким образом сделали они это в темную, слепую метель, среди голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок, размахивая локтями и ногами, рысью ехал на коренной (другие две лошади были привязаны к хомуту: в метель нельзя бросать лошадей). Поравнявшись со мной, он снова принялся ругать моего ямщика:

— Вишь, черт косоглазый! право...

— Э, дядя Митрич, — крикнул сказочник из вторых саней, — жив? полезай к нам.

Но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточным, он подъехал ко вторым саням.

— Всех поймал? — сказали ему оттуда.

— А то нет!

И небольшая фигура его на рыси грудью взвалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь пробежала за санями и ввалилась в них, с выпущенными кверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же как и прежде, молча сел в передние сани с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу.

— Вишь, ругатель... Господи-батюшка! — пробормотал мой ямщик.

Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза — та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мной, та же невысокая дуга, под которой между натянутыми ремнями поводками узды поматывается, всё в одном расстоянии, голова коренной с черной гривой, мерно подбиваемой в одну сторону ветром; виднеется из-за спины та же гнedenькая пристяжная направо, с коротко подвязанным хвостом и вальком, изредка постукивающим о лубок саней. Посмотришь вниз — тот же сыпучий снег разрывают полозья, и ветер упорно поднимает и уносит всё в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева всё белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора — ничего не видно. Везде всё бело, бело и подвижно: то горизонт кажется необъятно далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая высокая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает впереди, чтобы убежать дальше и дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх — покажется светло в первую минуту, — кажется, сквозь туман видишь звездочки; но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно. Ветер как будто изменяется: то дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое неумолкаемое хрустение копыт и полозьев по снегу и замирающее, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому намерзшему черепку, ясно долетают до слуха

энергическое посвистывание Игната и залиvistый звон его колокольчика с отзывающейся дребезжащей квинтой, и звуки эти вдруг отрадно нарушают унылый характер пустыни и потом снова звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая всё тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начала у меня зябнуть, и когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку, проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать; но мне было вообще еще тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня.

## VI

Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении.

«Советчик, что всё кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, — думаю я, — вроде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу нашего большого дома и пять человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепьяно из флигеля; вижу Федора Филиппыча с завороченными руками нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и озабоченным голосом кричит не переставая:

— На себя возьми, передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору, заноси в дверь! Вот так.

— Уж вы позвольте, Федор Филиппыч! мы одни, — робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения, из последних сил поддерживая один угол рояля.

Но Федор Филиппыч не унимается.

«И что это? — рассуждал я, — думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его? Должно быть, так». И я вижу почему-то пруд, усталых дворовых, которые по колено в воде тянут невод, и опять Федор Филиппыч с лейкой, крича на всех, бегаёт по берегу и только

изредка подходит к воде, чтобы, придерживав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца, иду куда-то. Я еще очень молод, мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду, на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольствия и грусти. Всё вокруг меня было так прекрасно, и так сильно действовала на меня эта красота, что, мне казалось, я сам хорош, и одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтоб утешиться; но мухи, несносные мухи, не дают мне и здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня, на самом припеке; желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх; глазам больно — солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями, — и кажется еще жарче. Я закрываю лицо платком; становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чиликнув, вылетел из клумбы; другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и так же, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня; вот ближе, слышу, он зашевелил траву, вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках; а вот, поднимая угол платка и щекотя потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забилась около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не уле-

жать: пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор:

— Ах, батюшки! Да что ж это! и мужчин никого нету!

— Что это, что? — спрашиваю я, выбегая на солнце, у дворовой женщины, которая, охая, бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и стопятилетняя старуха Матрена, придерживая рукою платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и десятилетний мальчишка, в отцовском сюртуке, держась за посконную юбку одной из них, поспешает сзади.

— Что случилось? — спрашиваю я у них.

— Мужик утонул.

— Где?

— В пруде.

— Какой? наш?

— Нет, прохожий.

Кучер Иван, ерзя большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними.

Помню чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе», чего мне именно и хочется.

— Где же, где? — спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся на берегу.

— Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти, — говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло. — Я гляжу, что он ныряет; а он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще да как крикнет: «Тону, батюшки!» — и опять ушел на низ, только пузырьки пошли. Тут я увидала, мужик тонет. Как взвою: «Батюшки, мужик тонет!»

И прачка, взвалив на плечо коромысло, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда.

— Вишь, грех какой! — говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом. — Что теперь хлопот с земским судом будет — не оберешься.

Какой-то один мужик с косою пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается.



— Где же, где он утонул? — все спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное.

Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит проносящийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода все так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце; и мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более что весьма плохо плаваю; а мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас броситься. Все смотрят на него с надеждой и замиранием; но, войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку: он не умеет плавать.

Народ всё сбегается, толпа становится больше и больше, бабы держатся друг за друга, но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, подают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаянье: из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять, на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрена спрашивает у дочери, затворила ли она заслонку печи; мальчишка в отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду.

Но вот от дому, с ласм и в недоумении оглядываясь назад, бежит под гору Трезорка, собака Федора Филиппыча; но вот и самая фигура его, бегущего с горы и кричащего что-то, показывается из-за шиповниковой клумбы.

— Что стоите? — кричит он, на бегу снимая сюртук. — Человек потонул, а они стоят! Давай веревку!

Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филиппыча, пока он, придерживаясь рукой за плечо услужливого дворового, снимает носком левой ноги каблук правой.

— Вон там, где народ стоит, так вот поправее ракуты, Федор Филиппыч, вон там-то, — говорит ему кто-то.

— Знаю! — отвечает он и, нахмутив брови, должно быть в ответ на признаки стыдливости, выражающейся в толпе женщин, снимает рубашку, крестик, передавая его мальчишке-садовнику, который подобострастно стоит перед ним, и, энергически ступая по скошенной траве, подходит к пруду.

Трезорка, в недоумении насчет причин этой быстроты движений своего господина, остановившись около толпы

и чмокая, съев несколько травинок около береза, вопро- сительно смотрит на него и, вдруг весело взвизгнув, вместе с своим хозяином бросается в воду. Первую ми- нуту ничего не видно, кроме пены и брызгов, которые летят даже до нас; но вот Федор Филиппыч, грациозно размахивая руками и равномерно подымая и опуская белую спину, саженьями, бойко плывет к тому берегу. Трезорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Федор Филиппыч подплывает к тому берегу, два кучера прибегают к ра- ките с свернутым на палке неводом. Федор Филиппыч для чего-то поднимает кверху руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз пуская изо рта струйку воды и кра- сиво встряхивая волосами и не отвечая на вопросы, ко- торые со всех сторон сыплются на него. Наконец он вы- ходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Невод вытаскивают, но в корме ничего нет, кроме тины и нескольких мелких ка- расиков, бьющихся между нею. В то время как невод еще раз затаскивают, я перехожу на ту сторону.

Слышно только голос Федора Филиппыча, отдающего приказания, поплескивание по воде мокрой веревки и вздохи ужаса. Мокрая веревка, привязанная к правому крылу, больше и больше покрытая травой, дальше и дальше выходит из воды.

— Теперь вместе тяни, дружной, разом! — кричит го- лос Федора Филиппыча. Показываются камолá, облитые водой.

— Есть что-то, тяжело идет, братцы, — говорит чей- то голос.

Но вот и крылья, в которых бьются два-три карасика, моча и прижимая траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь тонкий, колеблющийся слой возмутившейся воды в натянутой сети показывается что-то белое. Негромкий, но поразительно слышный среди мертвой тишины вздох ужаса проносится в толпе.

— Тащи дружной, на сухое тащи! — слышится реши- тельный голос Федора Филиппыча, и утопленника по скошенным стеблям лопуха и репейника волоком под- таскивают к раките.

И вот я вижу мою добрую старую тетушку в шелко- вом платье, вижу ее лиловый зонтик с бахромой, кото-

рый почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти, лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарованье, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню больное, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне с наивным эгоизмом любви сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты всё один купаешься и плаваешь».

Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине зыбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь, через тростник выплывали на середину; как грозовые белые кудрявые тучи сбирались на горизонте, как грязь, вытащенная неводом у берега, понемногу расходилась и как, проходя по плотине, я снова услышал удары валька, разносящиеся по пруду.

Но валеk этот звучит, как будто два валька звучат вместе с терциею, и звук этот мучит, томит меня, тем более что я знаю — этот валеk есть колокол, и Федор Филиппыч не заставит замолчать его. И валеk этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет, — я засыпаю.

Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня.

— Слышь, Игнат, а Игнат! — говорит голос моего ямщика. — Возьми седока — тебе всё одно ехать, а мне что даром гонять! возьми!

Голос Игната подле самого меня отвечает:

— А что мне радости-то за седока отвечать?.. Поставишь полштофа?

— Ну, полштофа!.. косушку — уж так и быть.

— Вишь, косушку! — кричит другой голос. — Лошадёй помучить за косушку!

Я открываю глаза. Всё тот же несносный колеблющийся снег мерещется в глазах, те же ямщики и лошади, но подле себя я вижу какие-то сани. Мой ямщик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то что голос из других саней советует не брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку.

— Перекладывай, уж так и быть, твое счастье. Кошушку поставь, как завтра приедем. Клади много, что ли?

Мой ящик с несвойственной ему живостью выскакивает на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен; но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и радость: он кланяется, благодарит меня, Алешку, Игнашку.

— Ну вот и слава богу! а то что это, господи-батюшки! половину ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас довезет, батюшка-барин, а мои уж лошади вовсе стали.

И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью.

Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сани, особенно с той стороны, с которой от ветра завешен был на головах двух ящиков армяк, были на четверть занесены снегом; за армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал так же, с выпущенными ногами, а сказочник продолжал свою сказку: «В то самое время, как генерал от королевского, значит, имени приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: «Генерал! я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и, значит, ты мне не любовник; а любовник мой есть тот самый принц...»

— В то самое время... — продолжал было он, но, увидав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку.

— Что, барин, сказочку пришли послушать? — сказал другой, которого я называл советчиком.

— Да у вас славно, весело! — сказал я.

— Что ж! от скуки, — по крайности не думается.

— А что, не знаете вы, где мы теперь?

Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ящикукам.

— А кто ее разберет, где? може, и к калмыкам заехали вовсе, — отвечал советчик.

— Что же мы будем делать? — спросил я.

— А что делать? Вот едем, можь и выедем, — сказал он недовольным тоном.

— Ну, а как не выедем да лошади станут в снегу, что тогда?

— А что! Ничего.

— Да замерзнуть можно.

— Известно можно, потому и стогов тепереча не видать: значит, мы вовсе к калмыкам заехали. Первое дело надо по снегу смотреть.

— А ты, никак, боишься замерзнуть, барин? — сказал старичок дрожащим голосом.

Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно было, что он продрог до последней косточки.

— Да, холодно очень становится, — сказал я.

— Эх ты, барин! А ты бы как я: нет-нет да и пробежись, — оно тебя и согреет.

— Первое дело, как пробежишь за саньми, — сказал советчик.

## VII

— Пожалуйста: готово! — кричал мне Алешка из передних саней.

Метель была так сильна, что насилу-насилу, перегнувшись совсем вперед и ухватясь обеими руками за полы шинеля, я мог по колеблющемуся снегу, который выносило ветром из-под ног, пройти те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней. Прежний ящик мой уже стоял на коленках в середине пустых саней, но, увидав меня, снял свою большую шапку, причём ветер неистово подхватил его волосы кверху, и попросил на водку. Он, верно, и не ожидал, чтобы я дал ему, потому что отказ мой несколько не огорчил его. Он поблагодарил меня и на этом, надвинул шапку и сказал мне: «Ну, дай бог вам, барин...» — и, задергав вожжами и зачмокав, тронулся от нас. Вслед за тем и Игнашка размахнулся всей спиной и крикнул на лошадей. Опять звуки хрустенья копыт, покрикиванья и колокольчика заменили звук завывания ветра, который был особенно слышен, когда стояли на месте.

С четверть часа после перекладки я не спал и развлекался рассматриванием фигуры нового ящика и лошадей. Игнашка сидел молодцом, беспрестанно подпрыгивал, замахивался рукою с висящим кнутом на лошадей, покрикивал, постукивал ногой об ногу и, перегибаясь вперед, поправлял шлею коренной, которая всё сбивалась на правую сторону. Он был невелик ростом, но хорошо сложен, как казалось. Сверх полущубка на нем был надет неподпоясанный армяк, которого ворот-

ник был почти откинут, и шея совсем голая; сапоги были не валеные, а кожаные, и шапка маленькая, которую он снимал и поправлял беспрестанно. Уши закрыты были только волосами. Во всех его движениях заметна была не только энергия, но еще более, как мне казалось, желание возбудить в себе энсргию. Однако чем дальше мы ехали, тем чаще и чаще он, оправляясь, подпрыгивал на облучке, похлопывал ногой об ногу и заговаривал со мной и Алешкой: мне казалось, он боялся упасть духом. И было от чего: хотя лошади были добрые, дорога с каждым шагом становилась тяжелее и тяжелее и заметно было, как лошади бежали неохотнее: уже надобно было постегивать, и коренная, добрая большая косматая лошадь, спотыкнулась раза два, хотя тотчас же, испугавшись, дернула вперед и подкинула косматую голову чуть не под самый колокольчик. Правая пристяжная, которую я невольно наблюдал, вместе с длинной ременной кисточкой шлеи, бившийся и подпрыгивающей с левой стороны, заметно спускала постромки, требовала кнутика, но, по привычке доброй, даже горячей лошади, как будто досадовала на свою слабость, сердито опускала и подымала голову, попрашивая повода. Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз всё усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но и к какому-нибудь приюту, — и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело и Игнатка покрикивает так бойко и красиво, как будто в крещенский морозный полдень мы катаемся в праздник по деревенской улице,— и главное, странно было думать, что мы всё едем, и шибко едем, куда-то прочь от того места, на котором находились. Игнатка запел какую-то песню, хотя весьма гаденькой фистулой, но так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его.

— Ге-гей! что горло-то дерешь, Игнат! — услышался голос советчика. — Посто́й на час!

— Чаво?

— Посто-о-о-ой!

Игнат остановился. Опять всё замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал, крутясь, гуще валить в сани. Советчик подошел к нам.

— Ну что!

— Да что! куда ехать-то!

— А кто е знает!

— Что, ноги замерзли, что ль, что хлопаешь-то?

— Вовсе зашлись.

— А ты бы вот сходил: во-он маячит, — никак, калмыцкое кочевье. Оно бы и ноги-то посогрел.

— Ладно. Подержи лошадей... на.

И Игнат побежал по указанному направлению.

— Всё надо смотреть да походить: оно и найдешь; а то так, что дуром-то ехать! — говорил мне советчик. — Вишь, как лошадей ударил!

Всё время, пока Игнат ходил — а это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился, — советчик говорил мне самоуверенным, спокойным тоном, как надо поступать во время метели, как лучше всего отпрячь лошадь и пустить, что она, как бог свят, выведет, или как иногда можно и по звездам смотреть, и как, ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции.

— Ну что, есть? — спросил он у Игната, который возвращался, с трудом шагая, почти по колени в снегу.

— Есть-то есть, кочевье видать, — отвечал, задыхаясь, Игнат, — да незнамо какое. Это мы, брат, должно, вовсе на Пролговскую дачу заехали. Надо левой брать.

— И что мелет! Это вовсе наши кочевья, которые позадь станицы, — возразил советчик.

— Да говорю, что нет!

— Уж я глянул, так знаю: оно и будет; а не оно, так Тамышевско. Все надо правой забирать: как раз и выедем на большой мост — осьмую версту.

— Да говорят, что нет! Ведь я видал! — с досадой отвечал Игнат.

— Э, брат! а еще ямщик!

— То-то ямщик! ты сходи сам.

— Что мне ходить! Я так знаю.

Игнат рассердился, видно: он, не отвечая, вскочил на облучок и погнал дальше.

— Вишь, как зашлись ноги: ажно не согреешь, — сказал он Алешке, продолжая похлопывать чаще и чаще и огребать и высыпать снег, который ему забился за голенищи.

Мне ужасно хотелось спать.

## VIII

«Неужели это я уже замерзаю? — думал я сквозь сон. — Замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе; а впрочем, всё равно — утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая-то и забыться бы».

Я забываюсь на секунду.

«Чем же, однако, всё это кончится? — вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и вглядываясь в белое пространство. — Чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, что, кажется, скоро случится, — мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильней маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо мною. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши; но вдруг Игнашка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас; но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком, занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ямщик с большой шапкой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. «Ты колдун, — кричит он, — ты ругатель! Будем плутать вместе». Но старичок пробивает головой сугроб: он не столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Действительно, нам тепло и уютно; только хочется пить. Я достаю погребец, потчую всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу, — и над нами уже потолок из снега и радуга. «Теперь сделаемте



себе каждый комнатку в снегу и давайте спать!» — говорю я. Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее; но Федор Филиппыч, который видел в погребце мои деньги, говорит: «Стойте! давай деньги. Всё одно умирать!» — и хватает меня за ногу. Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее: рука старика нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппыч приближается и грозит мне. Я бегу в свою комнату; но это не комната, а длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того, кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи; но мне только холодно и стыдно, — стыдно тем более, что тетюшка с зонтиком и гомеопатической аптечкой, под руку с утопленником, идут мне навстречу. Они смеются и не понимают знаков, которые я им делаю. Я бросаюсь на сани, ноги волокутся по снегу; но старичок гонится за мной, размахивая локтями. Старичок уже близко, но я слышу, впереди звонят два колокола, и знаю, что я спасен, когда прибегу к ним. Колокола звучат слышней и слышней; но старичок догнал меня и животом упал на мое лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее, но старичок не старичок, а утопленник... и кричит: «Игнашка! стой, вон Ахметкины стоги, кажись! Подь-ка посмотри!» Это уж слишком страшно. Нет! проснусь лучше...

Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полу Алешкиной шинели, колено у меня раскрыто, мы едем по голому насту, и терция колокольчиков слышнехонько звучит в воздухе с своей дребезжащей квинтой.

Я смотрю, где стоги; но вместо стогов, уже с открытыми глазами, вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть хорошенько этот дом и крепость: мне, главное, хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю.

Я спал крепко, но терция колокольчиков всё время была слышна и виделась мне во сне то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то органа, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение поталкивало меня и сани; тот же Игнашка сидел боком и похлопывал ногами; та же пристяжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу, кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развевающейся гривой, натягивая и опуская поводья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но всё это, больше чем прежде, покрыто, занесено было снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил на воротники и шанки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником, полкой Игнашкина армяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях.

Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь кругом — всё бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алешка спал в ногах и в самой глубине саней; вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал: он беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи на передок и слез. Ветер завыл неистово; снег, как из совка, так и посыпал на полы шубы. Я оглянулся: третьей тройки уж за нами не было (она где-то отстала). Около вторых саней, в снежном тумане, видно было, как старичок попрыгивал

с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распоясался и стал снимать сапоги.

— Что это ты делаешь? — спросил я.

— Перебуться надо; а то вовсе ноги заморозил, — отвечал он и продолжал свое дело.

Мне холодно было высунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, отставив ногу, болезненно, устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат санями, вскочив на облучок, разбудил меня.

— Что, где мы теперь? — спросил я. — Доедем ли хоть к свету?

— Будьте покойны: доставим, — отвечал он. — Теперь важно ноги согрелись, как перебулся.

И он тронул, колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега.

## Х

Я заснул крепко. Когда же Алешка, толкнув меня ногой, разбудил и я открыл глаза, было уже утро. Казалось еще холодней, чем ночью. Сверху снега не было; но сильный, сухой ветер продолжал заносить снежную пыль на поле и особенно под копытами лошадей и полозьями. Небо справа на востоке было тяжелое, темно-синеватого цвета; но яркие красно-оранжевые косые полосы яснее и яснее обозначались на нем. Над головами, из-за бегущих белых, едва окрашивающихся туч, виднелась бледная синева; налево облака были светлы, легки и подвижны. Везде кругом, что мог окинуть глаз, лежал на поле белый, острыми слоями рассыпанный, глубокий снег. Кое-где виднелся сереющий бугорок, через который упорно летела мелкая, сухая снежная пыль. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного следа не было видно. Очертания и цвета спины ямщика и лошадей виднелись ясно и резко даже на белом фоне... Околыш Игнашкиной темно-синей шапки, его воротник, волосы и даже сапоги были белы. Сани были занесены совершенно. У сивой коренной вся правая часть головы и холки были набиты снегом; у моей пристяжной ноги обсыпаны были до колен, и весь сделавшийся кудрявым

потный круп облеплен с правой стороны. Кисточка подпрыгивала так же в такт какого бы ни захотел воображать мотива, и сама пристяжная бежала так же, только по впадому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу и отвисшим ушам видно было, как она измучена. Один только новый предмет останавливал внимание: это был верстовой столб, с которого сыпало снег на землю и около которого ветер намел целую гору справа и всё еще рвался и перебрасывал сыпкий снег с одной стороны на другую. Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях, двенадцать часов, не зная куда и не останавливаясь, и все-таки как-то приехали. Наш колокольчик звенел как будто еще веселее. Игнат запахивался и покрикивал; сзади фыркали лошади и звенели колокольчики троек старичка и советчика: но тот, который спал, решительно в степи отбилсь от нас. Проехав полверсты, попался свежий, едва занесенный следок саней и тройки, и изредка розоватые пятна крови лошади, которая засекалась верно, виднелись на нем.

— Это Филипп! Вишь, раньше нас угодил! — сказал Игнашка.

Но вот домишко с вывеской виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыш и окон занес его. Около кабака стоит тройка серых лошадей, курчавых от пота, с отставленными ногами и понурыми головами. Около двери расчищено и стоит лопата; но с крыши всё метет еще и крутит снег гуляющий ветер.

Из двери, на звон наших колоколов, выходит большой, красный, рыжий ямщик, со стаканом вина в руках, и кричит что-то. Игнашка обертывается ко мне и просит позволения остановиться.

## XI

Тут я в первый раз вижу его рожу.

Лицо у него было не черноватое, сухое и прямоносое, как я ожидал, судя по его волосам и сложению. Это была круглая, веселая, совершенно курносая рожа, с большим ртом и светлой, ярко-голубыми круглыми глазами. Щеки и шея его были красны, как натертые суконкой; брови, длинные ресницы и пушок, ровно покрывающий низ его лица, были залеплены снегом и совершенно белы.

До станции оставалось всего полверсты, и мы остановились.

— Только поскорее, — сказал я.

— В одну минутую, — отвечал Игнашка, соскакивая с облучка и подходя к Филиппу.

— Давай, брат, — сказал он, снимая с правой руки и бросая на снег рукавицу с кнутом, и, опрокинув голову, залпом выпил поданный ему стаканчик водки.

Целовальник<sup>1</sup>, должно быть отставной казак, с полуштофом в руке, вышел из двери.

— Кому подносить? — сказал он.

Высокий Василий, худошавый русый мужик с козлиною бородкой, и советчик, толстый, белобрысый, с белой густой бородой, обкладывающей его красное лицо, подошли и тоже выпили по стаканчику. Старичок подошел было тоже к группе пьющих, но ему не подносили, и он отошел к своим привязанным сзади лошадям и стал поглаживать одну из них по спине и заду.

Старичок был точно такой, каким я воображал его: маленький, худенький, со сморщенным посинелым лицом, жиденькой бородкой, острым носиком и съеденными желтыми зубами. Шапка на нем была ямская, совершенно новая, но полушубчишка, истертый, испачканный дегтем и прорванный на плече и полах, не закрывал колен и посконного нижнего платья, всунутого в огромные валеные сапоги. Сам он весь сгорбился, сморщился и, дрожа лицом и коленами, копошился около саней, видимо стараясь согреться.

— Что ж, Митрич, поставь косушку-то: согрелся бы важно, — сказал ему советчик.

Митрича подернуло. Он поправил шлею у своей лошади, поправил дугу и подошел ко мне.

— Что ж, барин, — сказал он, снимая шапку с своих седых волос и низко кланяясь, — всю ночь с вами плутали, дорогу искали: хоть бы на косушечку пожаловали. Право, батюшка, ваше сиятельство! А то обогреться не на что, — прибавил он с подобострастной улыбочкой.

Я дал ему четвертак. Целовальник вынес косушку и поднес старичку. Он снял рукавицу с кнутом и поднес маленькую черную, корявую и немного посиневшую руку к стакану; но большой палец его, как чужой, не пови-

---

<sup>1</sup> Целовальник — сиделец, продавец вина в кабаке.

новался ему, он не мог удержать стакан, и разлив вино, уронил его на снег.

Все ямщики расхохотались.

— Вишь, замерз Митрич-то как! аж вина не сдержит. Но Митрич очень огорчился тем, что пролил вино.

Ему, однако, налили другой стакан и вылили в рот. Он тотчас же развеселился, сбегал в кабак, запалил трубку, стал оскабливать свои желтые съеденные зубы и ко всякому слову ругаться. Допив последнюю косуху, ямщики разошлись к тройкам, и мы поехали.

Снег все становился белее и ярче, так что ломию глаза, глядя на него. Оранжевые, красноватые полосы выше и выше, ярче и ярче расходились вверх по небу; даже красный круг солнца завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи; лазурь стала блестящее и темнее. По дороге около станицы след был ясный, отчетливый, желтоватый, кой-где были ухабы; в морозном, сжатом воздухе чувствительна была какая-то приятная легкость и прохлада.

Моя тройка бежала очень быстро. Голова коренной и шея с развевающейся по дуге гривой раскачивались быстро, почти на одном месте, под охотничьим колокольчиком, язычок которого уже не бился, а скоблил по стенкам. Добрые пристяжные дружно натянули замерзлые кривые постромки, энергически подпрыгивали, кисточка билась под самое брюхо и шлею. Иногда пристяжная сбивалась в сугроб с пробитой дороги и запылила глаза снегом, бойко выбиваясь из него. Игнашка покрикивал веселым тенором; сухой мороз повизгивал под полозьями; сзади звонкопразднично звенели два колокольчика и слышны были пьяные покрикивания ямщиков. Я оглянулся назад: серые курчавые пристяжные, вытянув шеи, равномерно сдерживая дыхание, с перекосившимися удилами, попрыгивали по снегу. Филипп, помахивая кнутом, поправлял шапку; старичок задрав ноги, так же как и прежде, лежал в середине саней.

Через две минуты сани закрипели по доскам сметенного подъезда станционного дома, и Игнашка повернул ко мне свое засыпанное снегом, дышащее морозом, веселое лицо.

— Доставили-таки, барин! — сказал он.

## ЛЮЦЕРН

8 июля

Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостинице, Швейцергофе.

«Люцерн, старинный кантональный город, лежащий на берегу озера четырех кантонов, — говорит Миггау, — одно из самых романтических местоположений Швейцарии; в нем скрещиваются три главные дороги; и только на час езды на пароходе находится гора Риги, с которой открывается один из самых великолепных видов в мире».

Справедливо или нет, другие *гиды* говорят то же, и потому путешественников всех наций, и в особенности англичан, в Люцерне — бездна.

Великолепный пятиэтажный дом Швейцергофа построен недавно на набережной, над самым озером, на том самом месте, где в старину был деревянный, крытый, извилистый мост, с часовнями на углах и образами на стропилах. Теперь благодаря огромному наезду англичан, их потребностям, их вкусу и их деньгам старый мост сломали и на его месте сделали цокольную, прямую, как палка, набережную; на набережной построили прямые четырехугольные пятиэтажные дома; а перед домами в два ряда посадили липки, поставили подпорки, а между липками, как водится, зеленые лавочки. Это — гулянье; и тут взад и вперед ходят англичанки и швейцарских соломенных шляпах и англичане в прочных и удобных одеждах и радуются своему произведению. Может быть, что эти набережные, и дома, и липки, и англичане очень хороши где-нибудь, но только не здесь, среди этой странно величавой и вместе с тем невыразимо гармонической и мягкой природы.

Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его,

вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное.

Был седьмой час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось. Голубое, как горящая сера, озеро, с точками лодок и их пропадающими следами, неподвижно, гладко, как будто выпукло расстилалось перед окнами между разнообразными зелеными берегами, уходило вперед, сжимаясь между двумя громадными уступами, и, темнея, упиралось и исчезало в нагроможденных друг на друге долинах, горах, облаках и льдинах. На первом плане мокрые светло-зеленые разбегающиеся берега с тростником, лугами, садами и дачами; далее темно-зеленые поросшие уступы с развалинами замков; на дне скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело-матовыми снеговыми вершинами; и всё залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещенное прорвавшимися с разорванного неба жаркими лучами заката. Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. И тут, среди неопределенной, запутанной свободной красоты, перед самым моим окном, глупо, фокусно торчала белая палка набережной, липки с подпорками и зеленые лавочки — бедные, пошлые людские произведения, не утонувшие так, как дальние дачи и развалины, в общей гармонии красоты, а, напротив, грубо противоречащие ей. Беспрестанно, невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно. Я выучился смотреть так и до обеда один сам с собою наслаждался тем неполным, но тем слаще томительным чувством, которое испытываешь при одиноком созерцании красоты природы.

В половине восьмого меня позвали обедать. В большой, великолепно убранной комнате, в нижнем этаже, были накрыты два длинные стола, по крайней мере человек на сто. Минуты три продолжалось молчаливое



движение сбора гостей: шуршанье женских платьев, легкие шаги, тихие переговоры с учтивейшими и изящнейшими кельнерами; и все приборы были заняты мужчинами и дамами, весьма красиво, даже богато и вообще необыкновенно чисто и плотно одетыми. Как вообще в Швейцарии, большая часть гостей — англичане, и потому главные черты общего стола — строгое, законом признанное приличие, несообщительность, основанные не на гордости, но на отсутствии потребности сближения, и одинокое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей. Со всех сторон блещут белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки. Но лица, из которых многие очень красивы, выражают только сознание собственного благосостояния и совершенное отсутствие внимания ко всему окружающему, что не прямо относится к собственной особе, и белейшие руки с перстнями и в митенях движутся только для поправления воротничков, разрезывания говядины и наливания вина в стаканы: никакое душевное волнение не отражается в их движениях. Семейства изредка тихим голосом перекидываются словами о приятном вкусе такого-то кушанья или вина и красивом виде с горы Риги. Одинокие путешественники и путешественницы одиноко, молча, сидят рядом, даже не глядя друг на друга. Если изредка из этих ста человек два разговаривают между собою, то наверно о погоде и восхождении на гору Риги. Ножи и вилки чуть слышно двигаются по тарелкам, кушанье берется понемногу, горошек и овощи едятся непременно вилкой; кельнеры, невольно подчиняясь общей молчаливости, шепотом спрашивают о том, какого вина прикажете? На таких обедах мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне всё кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «Отдохни, мой любезный!» — в то время как в жилах бьется молодая кровь и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства задавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно; все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю. Сначала я пробовал заговаривать

с соседями; но, кроме фраз, которые, очевидно, повторялись в стотысячный раз на том же месте и в стотысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди не глупые же и не бесчувственные, а, наверное, у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг с другом, наслаждения человеком?

То ли дело, бывало, в нашем парижском пансионе, где мы, двадцать человек самых разнообразных наций, профессий и характеров, под влиянием французской общительности, сходились к общему столу, как на забаву. Там сейчас, с одного конца стола на другой, разговор, пересыпанный шуточками и каламбурами, хотя часто и на ломаном языке, становился общим. Там всякий, не заботясь о том, как выйдет, болтал, что приходило в голову; там у нас были свой философ, свой спорщик, свой *bel esprit*<sup>1</sup>, свой пластрон<sup>2</sup>, всё было общее. Там, тотчас после обеда, мы отодвигали стол и в такт ли, не в такт ли принимались по пыльному ковру танцевать. *la polka*<sup>3</sup> до самого вечера. Там мы были хоть и кокетливые, не очень умные и почтенные люди, но мы были люди. И испанская графиня с романтическими приключениями, и итальянский аббат, декламировавший «Божественную комедию» после обеда, и американский доктор, имевший вход в Тюльери, и юный драматург с длинными волосами, и пьянистка, сочинившая, по собственным словам, лучшую польку в мире, и несчастная красавица вдова с тремя перстнями на каждом пальце, — мы все по-человечески, хотя поверхностно, но приязненно относились друг к другу и унесли друг от друга кто легкие, а кто искренние сердечные воспоминания. За английскими же *table d'hôte*'ами<sup>4</sup> я часто думаю, глядя на все эти кружева, ленты, перстни, помаженные волосы и шелковые платья, сколько бы живых женщин были счастливы и сделали бы других счастливыми этими нарядами. Странно подумать, сколько тут друзей и любовников,

---

<sup>1</sup> Остроумец (франц.).

<sup>2</sup> Пластрон — здесь: шут, человек, над которым смеются.

<sup>3</sup> Польку (франц.).

<sup>4</sup> Общими обедами (франц.).

самых счастливых друзей и любовников, сидят рядом, может быть, не зная этого. И бог знает отчего, никогда не узнают этого и никогда не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется.

Мне сделалось грустно, как всегда после таких обедов, и, не доев десерта, в самом невеселом расположении духа я пошел шляться по городу. Узенькие, грязные улицы без освещения, запираемые лавки, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой, или в шляпках, по стенам, оглядываясь, шмыгающими по переулкам, не только не разогнали, но еще усилили мое грустное расположение духа. В улицах уж было совсем темно, когда я, не оглядываясь кругом себя, без всякой мысли в голове, пошел к дому, надеясь сном избавиться от мрачного настроения духа. Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжело, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место.

Я, глядя только себе под ноги, шел по набережной к Швейцергофу, как вдруг меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живительно подействовали на меня. Как будто яркий, веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Заснувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг, как новость, отрадно поразили меня. Я невольно в одно мгновение успел заметить и пасмурное, серыми кусками на темной синеве, небо, освещенное поднимающимся месяцем, и темно-зеленое гладкое озеро с отражающимися в нем огоньками, и вдали мгlistые горы, и крики лягушек из Фрешенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо же передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно было устремлено мое внимание, я увидел в полумраке на середине улицы полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии, крошечного человека в черной одежде. Сзади толпы и человека, на темном сером и синем разорванном небе, стройно отделялось несколько черных раин сада и величаво возвышались по обеим сторонам старинного собора два строгие шпица башен.

Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разбирал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а кое-где, выпевая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то вроде милой и грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные слабые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодия и эта одинокая фигурка черного человечка среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен и черных раин сада — всё было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким.

Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? — сказалось мне невольно, — вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Всё твое, всё благо...

Я подошел ближе. Маленький человечек был, как казалось, странствующий тиролоец. Он стоял перед окнами гостиницы, выставив ножку, закинув кверху голову, и, бренча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человеку и благодарность за тот переворот, который он произвел во мне. Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волоса у него были черные, короткие, и на голове была самая мешанская простая старенькая фуражка. В одежде его ничего не было артистического, но лихая, детски веселая поза и движения с его крошечным ростом, составляли трогательное и вместе забавное зрелище. В подъезде, окнах и балконах великолепно освещенной гостиницы стояли блестящие нарядами, широкоюбные барыни, господа с

белейшими воротниками, швейцар и лакей в золотиштых ливреях, на улице, в полукруге толпы и дальше по бульвару, между липками, собрались и остановились изящно одетые кельнеры, повара в белейших колпаках и куртках, обнявшиеся девицы и гуляющие. Все, казалось, испытывали то же самое чувство, которое испытывал и я. Все молча стояли вокруг певца и внимательно слушали. Всё было тихо, только в промежутках песни, где-то вдалеке, равномерно по воде, долетал звук молота, и из Фрёшенбурга рассыпчатой трелью неслись голоса лягушек, перебиваемые влажным, однозвучным свистом перепелов.

Маленький человечек в темноте среди улицы заливался, как соловей, куплет за куплетом и песня за песней. Несмотря на то что я подошел вплоть к нему, его пенье продолжало доставлять мне большое удовольствие. Небольшой голос его был чрезвычайно приятен, нежность же, вкус и чувство меры, с которыми он владел этим голосом, были необыкновенны и показывали в нем огромное природное дарованье. Припев каждого куплета он всякий раз пел различно, и видно было, что все эти грациозные изменения свободно, мгновенно приходили ему.

В толпе, и наверху в Швейцергофе и внизу на бульваре, слышался часто одобрителный шепот и царствовало почтительное молчание. На балконах и в окнах всё более и более прибавлялось нарядных, живописно в свете огней дома облокотившихся мужчин и женщин. Гуляющие останавливались, и в тени на набережной повсюду кучками около липок стояли мужчины и женщины. Около меня, куря сигары, стояли, несколько отделившись от всей толпы, аристократические лакей и повар. Повар сильно чувствовал прелесть музыки и при каждой высокой фистульной ноте восторженно-недоумевающе подмигивал всей головой лакею и толкал его локтем с выражением, говорившим: каково поет, а? Лакей, по распутившейся улыбке которого я замечал всё им испытываемое удовольствие, на толчки повара отвечал пожиманием плеч, показывавшим, что его удивить довольно трудно и что слышал многое лучше этого.

В промежутке песни, когда певец прокашливался, я спросил у лакея, кто он такой и часто ли сюда приходит.

— Да в лето раза два приходит, — отвечал лакей, — он из Арговии. Так, нищенствует.

— А что, много их таких ходит? — спросил я.

— Да, да, — отвечал лакей, не поняв сразу того, о чем я спрашивал, но, разобрав уж потом мой вопрос, прибавил: — О нет! Здесь я только одного его выдаю. Больше нету.

В это время маленький человек кончил первую песню, бойко перевернул гитару и сказал что-то про себя на своем немецком *patois*<sup>1</sup>, чего я не мог понять, но что произвело хохот в окружающей толпе.

— Что это он говорит? — спросил я.

— Говорит, что горло пересохло, выпил бы вина, — перевел мне лакей, стоявшей подле меня.

— А что, он, верно, любит пить?

— Да эти все люди такие, — отвечал лакей, улыбувшись и махнув на него рукою.

Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к господам, стоявшим у окон и на балконах. «*Messieurs et mesdames*, — сказал он полуйтальянским, полунемецким акцентом и с теми интонациями, с которыми фокусники обращаются к публике, — *si vous croyez que je gagne quelque chose, vous vous trompez; je nesuisqu'un bawvre tiaple*»<sup>2</sup>. Он остановился, помолчал, немного; но так как никто ему ничего не дал, он снова вскинул гитару и сказал: «*A présent, messieurs et mesdames, je vous chanterai l'air du Righi*»<sup>3</sup>. Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании следующей песни, внизу в толпе засмеялись, должно быть, тому, что он так странно выражался, и тому, что ему ничего не дали. Я дал ему несколько сантимов, он ловко перекинул их из руки в руку, засунул в карман жилета и, надев фуражку, снова начал петь грациозную, милую тирольскую песенку, которую он называл *l'air bu Righi*. Эта песня, которую он оставлял для заключения, была еще лучше всех прежних, и со всех сторон в увеличившейся толпе слышались звуки одобрения. Он кончил. Снова он размахнул гита-

---

<sup>1</sup> Местное, провинциальное наречие (*франц.*).

<sup>2</sup> «Милостивые государи и государыни, ежели вы думаете, что я что-нибудь зарабатываю, то вы ошибаетесь; я бедный малый» (*искаж. франц.*).

<sup>3</sup> «Теперь, милостивые государи и государыни, я спою вам песенку «Риги» (*франц.*).

рой, снял фуражку, выставил ее вперед себя, на два шага приблизился к окнам и снова сказал свою непонятную фразу: «Messieurs et mesdames, si vous croyez que je gagne quelque chose», которую он, видно, считал очень ловкой и остроумной, но в голосе и в движениях его я заметил теперь некоторую нерешительность и детскую робость, которые были особенно поразительны с его маленьким ростом. Элегантная публика всё так же живописно в свете огней стояла на балконах и в окнах, блестя богатыми одеждами; некоторые умеренно-приличным голосом разговаривали между собой, очевидно, про певца, который с вытянутой рукой стоял перед ними, другие внимательно, с любопытством смотрели вниз, на эту маленькую черную фигурку; на одном балконе слышался звучный и веселый смех молодой девушки. В толпе внизу громче и громче слышался говор и посмеиванье. Певец в третий раз повторил свою фразу, но еще слабейшим голосом, и даже не закончил ее, и снова вытянул руку с фуражкой, но тотчас же и опустил ее. И во второй раз из этих сотни блестяще одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему *копейки*. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось, сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: «Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit»<sup>1</sup>, — и надел фуражку. Толпа загоготала от радостного смеха. С балконов стали понемногу скрываться красивые мужчины и дамы, спокойно разговаривая между собою. На бульваре снова возобновилось гулянье. Молчаливая во время пения улица снова оживилась, несколько человек только, не подходя к нему, смотрели издалека на певца и смеялись. Я слышал, как маленький человек что-то проговорил себе под нос, повернулся и, как будто сделавшись еще меньше, скорыми шагами пошел к городу. Веселые гуляки, смотревшие на него, всё так же в некотором расстоянии следовали за ним и смеялись...

Я совсем растерялся, не понимал, что это всё значит, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в темноту

---

<sup>1</sup> «Милостивые государи и государыни, благодарю вас и желаю вам спокойной ночи» (*франц.*).

на удалявшегося крошечного человека, который, растягивая большие шаги, быстро шел к городу, и на смеющихся гуляк, которые следовали за ним. Мне сделалось больно, горько и, главное, стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто бы я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись. Я, тоже не оглядываясь, с защемленным сердцем, скорыми шагами пошел к себе домой, на крыльцо Швейцергофа. Я не отдавал себе еще отчета в том, что испытывал; только что-то тяжелое, неразрешившееся наполняло мне душу и давило меня.

На великолепном, освещенном подъезде мне встретился учтиво сторонившийся швейцар и английское семейство. Плотный, красивый и высокий мужчина с черными английскими бакенбардами, в черной шляпе и с пледом на руке, в которой он держал богатую трость, лениво, самоуверенно шел под руку с дамой, в диком шелковом платье, в чепце с блестящими лентами и прелестнейших кружевах. Рядом с ними шла хорошенькая, свеженькая барышня в грациозной швейцарской шляпе с пером, а *la mousquetaire*<sup>1</sup>, из-под которой вокруг ее бледного личика падали мягкие, длинные, светло-русые булki. Впереди подпрыгивала десятилетняя румяная девочка, с полными белыми коленками, видневшимися из-под тончайших кружев.

— Прелестная ночь, — сказала дама сладким, счастливым голосом, в то время как я проходил.

— *Ohé!* — промычал лениво англичанин, которому, видимо, было так хорошо жить на свете, что и говорить не хотелось. И всем им, казалось, так было спокойно, удобно, чисто и легко жить на свете, такое в их движениях и лицах выражалось равнодушие ко всякой чужой жизни и такая уверенность в том, что швейцар им посторонится и поклонится, и что, воротясь, они найдут чистую, покойную постель и комнаты, и что всё это должно быть, и что на всё это имеют полное право, — что я вдруг невольно противопоставил им странствующего певца, который, усталый, может быть, голодный, с стыдом убежал теперь от смеющейся толпы, — понял, что таким тяжелым камнем давило мне сердце, и почувствовал невыразимую злобу на этих людей. Я два раза про-

---

<sup>1</sup> Как у мушкетера (*франц.*).



шел туда и назад мимо англичанина, с невыразимым наслаждением оба раза, не сторонясь ему, толкнул его локтем и, спустившись с подъезда, побежал в темноте по направлению к городу, куда скрылся маленький человек.

Догнав трех человек, шедших вместе я спросил у них, где певец; они, смеясь, указывали мне его впереди. Он шел один, скорыми шагами, никто не приближался к нему, он всё что-то, как мне показалось, сердито бормотал себе под нос. Я поравнялся с ним и предложил ему пойти куда-нибудь вместе выпить бутылку вина. Он шел всё так же скоро и недовольно оглянулся на меня; но, разобрав, в чем дело, остановился.

— Что ж, я не откажусь, ежели вы так добры, — сказал он. — Вот тут есть маленький кафе, туда зайти можно — простенькое, — прибавил он, указывая на распивную лавочку, которая была еще отворена.

Его слово «простенькое» невольно навело меня на мысль не идти в простенькое кафе, а идти в Швейцергоф, туда, где были те, которые его слушали. Несмотря на то, что он с робким волнением несколько раз отказывался от Швейцергофа, говоря, что там слишком парадно, я настоял на своем, и он, притворяясь уже, что несколько не смущен, весело размахивая гитарой, пошел со мной назад по набережной. Несколько праздных гуляк, как только я подошел к певцу, пододвинулись, прислушались к тому, что я говорил, и теперь рассуждая между собой, пошли за нами до самого подъезда, ожидая, верно, от тирольца еще какого-нибудь представления.

Я спросил бутылку вина у кельнера, который встретился мне в сенях. Кельнер, улыбаясь, посмотрел на нас и, ничего не ответив, пробежал мимо. Старший кельнер, к которому я обратился с той же просьбой, серьезно выслушал меня и, оглядев с ног до головы робкую, маленькую фигуру певца, строго сказал швейцару, чтоб нас провели в залу налево. Зала налево была распивная комната для простого народа. В углу этой комнаты горбатая служанка мыла посуду, и вся мебель состояла в деревянных голых столах и лавках. Кельнер, который пришел служить нам, поглядывая на нас с кроткой насмешливой улыбкой и засунув руки в карманы, переговаривался о чем-то с горбатой судомойкой. Он, видимо, старался дать нам заметить, что, чувствуя себя по общественному положению и достоинствам неизмеримо

выше певца, ему не только не обидно, но истинно забавно служить нам.

— Простого вина прикажете?—сказал он с знающим видом, подмигивая мне на моего собеседника и из руки в руку перекидывая салфетку.

— Шампанского, и самого лучшего, — сказал я, стараясь принять самый гордый и величественный вид.

Но ни шампанское, ни мой будто бы гордый и величественный вид не подействовали на лакея; он усмехнулся, постоял немножко, глядя на нас, не торопясь посмотрел на золотые часы и тихими шагами, как бы прогуливаясь, вышел из комнаты. Скоро он возвратился с вином и еще двумя лакеями. Два из них сели около судомойки и с веселою внимательностью и кроткой улыбкой на лицах любовались на нас, как любят родители на милых детей, когда они мило играют. Одна только горбатая судомойка, казалось, не насмешливо, а с участием смотрела на нас. Хотя мне было и очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело сколь возможно независимо. При огне я его рассмотрел лучше. Это был крошечный, пропорционально сложенный, жилистый человек, почти карлик, с щетинистыми черными волосами, всегда плачущими большими черными глазами, лишенными ресниц, и чрезвычайно приятным, умильно сложенным ротиком. У него были маленькие бакенбарды, волоса были недлинны, одежда была самая простая и бедная. Он был нечист, оборван, загорел и вообще имел вид трудового человека. Он скорей был похож на бедного торговца, чем на артиста. Только в постоянно влажных, блестящих глазах и собранном ротике было что-то оригинальное и трогательное. На вид ему можно было дать от двадцати пяти до сорока лет; действительно же ему было тридцать восемь.

Вот что он с добродушной готовностью и очевидной искренностью рассказал про свою жизнь. Он из Аргивии. В детстве еще он потерял отца и мать, других родных у него нет. Состояния он никогда не имел никакого. Он обучался столярному мастерству, но двадцать два года тому назад у него сделался костоед в руке, лишивший его возможности работать. Он с детства имел охоту к пенью и стал петь. Иностранцы давали ему изредка деньги. Он сделал из этого профессию, купил

гитару и вот восемнадцатый год странствует по Швейцарии и Италии, распевая перед гостиницами. Весь его багаж — гитара и кошелек, в котором у него теперь было только полтора франка, которое он должен проспать и проесть нынче же вечером. Он каждый год, уж восемнадцать раз проходит все лучшие, наиболее посещаемые места Швейцарии: Цюрих, Люцерн, Интерлакен, Шамуни и т. д.; через St.-Bernard<sup>1</sup> проходит в Италию и возвращается через St.-Gotard<sup>2</sup> или через Савойю. Теперь ему тяжело становится ходить, потому что от простуды он чувствует, что боль в ногах, которую он называет глидерзухт, с каждым годом усиливается и что глаза и голос его становятся слабее. Несмотря на это, он теперь отправляется в Интерлакен, Aix-les-Bains и, через малый St.-Bernard, в Италию, которую он особенно любит; вообще, как кажется, он очень доволен своей жизнью. Когда я спросил у него, зачем он возвращается домой, есть ли у него там родные или дом и земля, ротик его, как будто на сборках, собрался в веселую улыбочку, и он отвечал мне:

— Oui, le sucre est bon, il est doux pour les enfants!<sup>3</sup> — и подмигнул на лакеев.

Я ничего не понял, по в лакейской группе засмеялись.

— Ничего нет, а то разве я бы стал ходить так, — объяснил он мне, — а прихожу домой, потому что все-таки как-то тянет к себе на родину.

И он еще раз с хитро-самодовольной улыбкой повторил фразу: «Oui, le sucre est bon», — и добродушно рассмеялся. Лакеи очень были довольны и хохотали, одна горбатая судомойка большими, добрыми глазами серьезно смотрела на маленького человечка и подняла ему шапку, которую он во время разговора уронил с лавки. Я замечал, что странствующие певцы, акробаты, даже фокусники любят называть себя артистами, и потому несколько раз намекал своему собеседнику на то, что он артист, но он вовсе не признавал за собой этого качества, а весьма просто, как на средство к жизни, смот-

---

<sup>1</sup> Сен-Бернар — два горных прохода в Западных Альпах (Большой и Малый), соединяющие Италию с Францией и Италию с Швейцарией.

<sup>2</sup> Сен-Готард — горный проход в Центральных Альпах.

<sup>3</sup> Да, сахар хорош, он приятен для детей (франц.).

рел на свое дело. Когда я спросил его, не сам ли он сочиняет песни, которые поет, он удивился такому странному вопросу и отвечал, что куда ему, это всё старинные тирольские песни.

— А как же песня Риги? я думаю, не старинная? — сказал я.

— Да, это лет пятнадцать тому назад сочинена. Был один немец в Базеле, умнейший был человек, это он сочинил ее. Отличная песня! Это, видите, он для путешественников сочинил.

И он начал мне, переводя по-французски, рассказывать слова песни Риги, которая, видно, ему очень нравилась:

Коли хочешь идти на Риги,  
До Вегиса не нужно башмаков  
(Потому что на пароходе едут),  
А от Вегиса возьми большую палку  
Да еще под руку возьми девицу,  
Да зайди выпить стаканчик вина.  
Только пей не слишком много.  
Потому что тот, кто хочет пить,  
Должен заслужить прежде...

— О, отличная песня! — заключил он.

Лакеи находили, вероятно, эту песню весьма хорошей, потому что приблизились к нам.

— Ну, а музыку кто же сочинял? — спросил я.

— Да никто, это так, знаете, чтобы петь для иностранцев, надо что-нибудь новенькое.

Когда нам принесли льду и я налил моему собеседнику стакан шампанского, ему, видимо, стало неловко, и он, оглядываясь на лакеев, поворачивался на своей лавке. Мы чокнулись за здоровье артистов; он отпил полстакана и нашел нужным задуматься и глубокомысленно повести бровями.

— Давно я не пил такого вина, je ne vous dis que ça<sup>1</sup>. В Италии вино d'Asti хорошо, но это еще лучше. Ах, Италия, славно там быть! — прибавил он.

— Да, там умеют ценить музыку и артистов, — сказал я, желая навести его на вечернюю неудачу перед Швейцергофом.

— Нет, — отвечал он, — там насчет музыки я никому не могу удовольствия доставить. Итальянцы сами музы-

---

<sup>1</sup> ...я только это скажу вам (франц.).

канты, каких нет на всем свете; но я только насчет тирольских песен. Это им все-таки новость.

— Что ж, там щедрее господа? — продолжал я, желая его заставить разделить мою злобу на обитателей Швейцеркофа. — Там не случится так, как здесь, чтобы из огромного отеля, где богачи живут, сто человек бы слушали артиста и ничего бы ему не дали...

Мой вопрос подействовал совсем не так, как я ожидал. Он не думал негодовать на них; напротив, в моем замечании он видел упрек своему таланту, который не вызвал награды, и старался оправдаться передо мной.

— Не всякий раз много получишь, — отвечал он. — Иногда и голос пропадет, устанешь, — ведь я нынче девять часов прошел и пел целый день почти. Оно трудно. А важные господа аристократы, им иногда и не хочется слушать тирольские песни.

— Все-таки, как же ничего не дать? — повторил я. Он не понял моего замечания.

— Не то, — сказал он, — а здесь главное *on est très serré pour la police*<sup>1</sup>, вот что. Здесь по этим республиканским законам вам не позволяют петь, а в Италии вы можете ходить сколько хотите, никто вам слова не скажет. Здесь ежели захотят вам позволить, то позволят, а не захотят, то вас в тюрьму посадить могут.

— Как, неужели?

— Да. Ежели вам раз заметят, а вы будете еще петь, вас могут в тюрьму посадить. Я уж просидел три месяца, — сказал он, улыбаясь, как будто это было одно из самых приятных его воспоминаний.

— Ах, это ужасно! — сказал я. — За что же?

— Это так у них по новым законам республики, — продолжал он, одушевляясь. — Они этого не хотят рассудить, что надо, чтобы и бедняк жил как-нибудь. Ежели бы я был не калека, я бы работал. А что я пою, так разве я кому-нибудь вред этим делаю? Что же это такое? богатым жить можно, как хотят, а *un pauvre tiarpe*<sup>2</sup>, как я, уж и жить не может. Что ж это за законы республики? Коли так, то мы не хотим республики не так ли, милостивый государь? мы не хотим республики, а мы

---

<sup>1</sup> ...много притеснений со стороны полиции (франц.).

<sup>2</sup> ...бедный малый (искаж. франц.).

хотим... мы хотим просто... мы хотим... — он замялся немного, — мы хотим натуральные законы.

Я подлил ему еще в стакан.

— Вы не пьете, — сказал я ему.

Он взял в руку стакан и поклонился мне.

— Я знаю, что вы хотите, — сказал он, прищуривая глаз и грозя мне пальцем, — вы хотите подпойть меня, посмотреть, что из меня будет; но нет, это вам не удастся.

— Зачем же мне вас напоить, — сказал я, — я только желал бы вам сделать удовольствие.

Ему, верно, жалко стало, что он обидел меня, дурно объяснив мое намерение, он смутился, привстал и пожал меня за локоть.

— Нет, нет, — сказал он, с умоляющим выражением глядя на меня своими влажными глазами, — я так только шучу.

И вслед за этим он произнес какую-то ужасно запутанную, хитрую фразу, долженствовавшую означать, что я все-таки добрый малый.

— Je ne vous dis que ça! <sup>1</sup> — заключил он.

Таким образом, мы продолжали пить и беседовать с певцом, а лакеи продолжали, не стесняясь, любоваться нами и, кажется, подтрунивать. Несмотря на интерес моего разговора, я не мог не замечать их и, признаюсь, сердился всё больше и больше. Один из них привстал, подошел к маленькому человечку и, глядя ему в маковку, стал улыбаться. У меня уж был готовый запас злобы на обитателей Швейцергофа, который я не успел еще сорвать ни на ком, и теперь, признаюсь, эта лакейская публика так и подмывала меня. Швейцар, не снимая фуражки, вошел в комнату и, облокотившись на стол, сел подле меня. Это последнее обстоятельство, задев мое самолюбие или тщеславие, окончательно взорвало меня и дало исход той давившей злобе, которая весь вечер собиралась во мне. Зачем у подъезда, когда я один, он мне униженно кланяется, а теперь, потому что я сижу с странствующим певцом, он грубо рассаживается рядом со мной? Я совсем озлился той кипящей злобой негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действу-

---

<sup>1</sup> Я только это скажу вам! (франц.).

ет на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей.

Я вскочил с места.

— Чему вы смеетесь? — закричал я на лакея, чувствуя, как лицо мое бледнеет и губы невольно подергиваются.

— Я не смеюсь, я так, — отвечал лакей, отступая от меня.

— Нет, вы смеетесь над этим господином. И какое право вы имеете тут быть и сидеть здесь, когда тут гости. Не смейте сидеть! — закричал я.

Швейцар, ворча что-то, встал и отодвинулся к двери.

— Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он гость, а вы лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом и не сажались со мной рядом? Оттого, что он бедно одет и поет на улице? от этого; а на мне хорошес платье. Он беден, но в тысячу раз лучше вас, в этом я уврсен. Потому что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его.

— Да, я ничего, что вы, — робко отвечал мой враг лакей. — Разве я мешаю ему сидеть.

Лакей не понимал меня, и моя немецкая речь пропала даром. Грубый швейцар вступился было за лакея, но я напал на него так стремительно, что швейцар притворился, что тоже не понимает меня, и махнул рукой. Горбатая судомойка, замстив ли мое разгоряченное состояние и боясь скандалу, или разделяя мое мнение, приняла мою сторону и, стараясь стать между мной и швейцаром, уговаривала его молчать, говоря, что я прав, а меня просила успокоиться. «Der Herr hat Recht; Sie haben Recht»<sup>1</sup>, — твердила она. Певец представлял самое жалкое, испуганное лицо и, видимо, не понимая, из чего я горячусь и чего я хочу, просил меня уйти поскорее отсюда. Но во мне всё больше и больше разгоралась злобная словоохотливость. Я всё припомнил: и толпу, которая смеялась над ним, и слушателей, ничего не давших ему, и ни за что на свете не хотел успокоиться. Я думаю, что, сели бы кельнеры и швейцар не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую

---

<sup>1</sup> «Господин прав; вы правы» (нем.).

барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею.

— И отчего вы провели меня с этим господином в эту, а не в ту залу? А? — допрашивал я швейцара, ухватив его за руку, с тем чтобы он не ушел от меня. — Какое вы имели право по виду решать, что этот господин должен быть в этой, а не в той зале? Разве, кто платит, не все равны в гостиницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!.. Вот оно, равенство! Англичан вы бы не смели провести в эту комнату, тех самых англичан, которые даром слушали этого господина, то есть украли у него каждый по несколько сантимов, которые должны были дать ему. Как вы смели указать эту залу?

— Та зала заперта, — отвечал швейцар.

— Нет, — закричал я, — неправда, не заперта зала.

— Так вы лучше знаете.

— Знаю, знаю, что вы лжете.

Швейцар повернулся плечом прочь от меня.

— Э, что говорить! — проворчал он.

— Нет, не «что говорить», — закричал я, — а ведите меня сию минуту в залу.

Несмотря на увещанья горбуньи и просьбы певца идти лучше по домам, я потребовал обер-кельнера и пошел в залу вместе с моим собеседником. Обер-кельнер, услышав мой озлобленный голос и увидав мое взволнованное лицо, не стал спорить и с презрительной учтивостью сказал, что я могу идти, куда мне угодно. Я не мог доказать швейцару его лжи, потому что он скрылся еще прежде, чем я вошел в залу.

Зала была действительно отперта, освещена, и на одном из столов сидели, ужиная, англичанин с дамой. Несмотря на то что нам указывали особый стол, я с грязным певцом подсел к самому англичанину и велел сюда подать нам неоконченную бутылку.

Англичане сначала удивленно, потом озлобленно посмотрели на маленького человечка, который ни жив ни мертв сидел подле меня; они что-то сказали между собой, она оттолкнула тарелку, зашумела шелковым платьем, и оба скрылись. За стеклянными дверьми я видел, как англичанин что-то озлобленно говорил кельнеру, беспрестанно указывая рукой по нашему направлению,



Кельнер высунулся в дверь и взглянул в нее. Я с радостью ожидал, что придут выводить нас и можно будет наконец вылить на них всё свое негодование. Но, к счастью, хотя это тогда мне было неприятно, нас оставили в покое.

Певец, прежде отказывавшийся от вина, теперь торопливо допил всё, что оставалось в бутылке, с тем чтобы поскорей выбраться отсюда. Однако он с чувством, как мне показалось, отблагодарил меня за угощение. Плачущие глаза его сделались еще более плачущими и блестящими, и он сказал мне самую странную, запутанную фразу благодарности. Но все-таки эта фраза, в которой он говорил, что ежели бы все так уважали артистов, как я, то ему было бы хорошо, и что он желает мне всякого счастья, была мне очень приятно. Мы вместе с ним вышли в сени. Тут стояли лакеи и мой враг швейцар, кажется, жаловавшийся им на меня. Все они, кажется, смотрели на меня, как на умалишенного. Я дал маленькому человечку поравняться со всей этой публикой, и тут со всей почтительностью, которую только в состоянии выразить в своей особе, я снял шляпу и пожал ему руку с закостенелым, отсохшим пальцем. Лакеи сделали вид, как будто не обращают на меня ни малейшего внимания. Только один из них засмеялся сардоническим смехом.

Когда певец, раскланиваясь, скрылся в темноте, я пошел к себе наверх, желая заспать все эти впечатления и глупую детскую злобу, которая так неожиданно нашла на меня. Но, чувствуя себя слишком взволнованным для сна, я опять пошел на улицу, с тем чтобы ходить до тех пор, пока успокоюсь, и, признаюсь, кроме того, в смутной надежде, что найдется случай сцепиться с швейцаром, лакеем или англичанином и доказать им всю их жестокость и, главное, несправедливость. Но, кроме швейцара, который, увидав меня, повернулся ко мне спиной, я никого не встретил и один-одинешенек стал взад и вперед ходить по набережной.

«Вот она, странная судьба поэзии, — рассуждал я, успокоившись немного. — Все любят, ищут ее, одну ее желают и ищут в жизни, и никто не признает ее силы, никто не ценит этого лучшего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают его людям. Спросите у кого хотите, у всех этих обитателей Швейцергофа, что

лучшее благо в мире? и все или девяносто девять на сто, приняв сардоническое выражение, скажут вам, что лучшее благо мира — деньги. «Может быть, мысль эта вам не нравится и не сходится с вашими возвышенными идеями, — скажет он, — но что ж делать, ежели жизнь человеческая так устроена, что одни деньги составляют счастье человека. Я не мог не позволить моему уму видеть свет, как он есть, — прибавит он, — то есть видеть правду». Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которого ты жслашь, и несчастное ты создание, само не знающее, чего тебе надобно... Зачем вы все покинули свое отечество, родных, занятия и денежные дела и столпились в маленьком швейцарском городке Люцерне? Зачем вы все нынче вечером высыпали на балконы и в почтительном молчании слушали песню маленького нищего? И ежели бы он захотел петь еще, еще бы молчали и слушали. Чтó, за деньги, хоть за миллионы, вас можно бы было всех выгнать из отечества и собрать в маленьком уголке Люцерне? За деньги вас можно бы было всех собрать на балконах и в продолжение получаса заставить стоять молчаливо и неподвижно? Нет! А заставляет вас действовать одно, и вечно будет двигать сильнее всех других двигателей жизни: потребность поэзии, которую не сознаете, но чувствуете, и век будете чувствовать, пока в вас останется что-нибудь человеческое. Слово «поэзия» вам смешно, вы употребляете его в виде насмешливого упрека, вы допускаете любовь к поэтическому нечто в детях и глупых барышнях, и то вы над ними смеетесь; для вас же нужно положительное. Да дети-то здраво смотрят на жизнь, они любят и знают то, что должен любить человек, и то, что даст счастье, а вас жизнь до того запутала и развратила, что вы смеетесь над тем, что одно любите, и ищите одного того, что ненавидите и что делает ваше несчастье. Вы так запутались, что не понимаете того обязательства, которое вы имеете перед бедным тирольцем, доставившим вам чистое наслаждение, а вместе с тем считаете себя обязанными даром, без пользы и удовольствия, унижаться перед лордом и зачем-то жертвовать ему своим спокойствием и удобством. Что за вздор, что за неразрешимая бессмыслица! Но не это сильней всего поразило меня нынче вечером. Это неведение того, чтó дает счастье, эту бессознательность поэтических наслаждений я почти понимаю

или привык к ней, встречая ее часто в жизни; грубая, бессознательная жестокость толпы тоже была для меня не новость; что бы ни говорили защитники народного смысла, толпа есть соединение хотя бы и хороших людей, но соприкасающихся только животными, гнусными сторонами, и выражающая только слабость и жестокость человеческой природы. Но как вы, дети свободного, человеческого народа, вы, христиане, вы, просто люди, на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный просящий человек, ответили холодностью и насмешкой? Но нет, в вашем отечестве, есть приюты для нищих. — Нищих нет, их не должно быть, и не должно быть чувства сострадания, на котором основано нищенство. — Но он трудился, он радовал вас, он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его как редкость из своих высоких блестящих палат, и из сотни вас, счастливых, богатых, не нашлось ни одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь! Пристыженный, он пошел прочь от вас; и бессмысленная толпа, смеясь, преследовала и оскорбляла не вас, а его, — за то, что вы холодны, жестоки и бесчестны; за то, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил, за это его оскорбляли.

*«Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушали его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».*

Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, у постоянных жителей Швейцергофа, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля.

Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. Что англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету, что французы убили еще тысячу кабиллов за то, что хлеб хорошо родится в Африке и что

постоянная война полезна для формирования войск, что турецкий посланник в Неаполе не может быть жид и что император Наполеон гуляет пешком в Plombières и печатно уверяет народ, что он царствует только по воле всего народа, — это всё слова, скрывающие или показывающие давно известное; но событие, происшедшее в Люцерне 7 июля, мне кажется совершенно ново, странно и относится не к вечным дурным сторонам человеческой природы, но к известной эпохе развития общества. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации.

Отчего этот бесчеловечный факт, невозможный ни в какой деревне немецкой, французской или итальянской, возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени, где собираются путешествующие, самые цивилизованные люди самых цивилизованных наций? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные в общем на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого, сердечного чувства на личное доброе дело? Отчего эти люди, в своих палатах, митингах и обществах горячо заботящиеся о состоянии безбрачных китайцев в Индии, о распространении христианства и образования в Африке, о составлении обществ исправления всего человечества, не находят в душе своей простого первобытного чувства человека к человеку? Неужели нет этого чувства и место его заняли тщеславие, честолюбие и корысть, руководящие этих людей в их палатах, митингах и обществах? Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной ассоциации? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова «равенство»?

Равенство перед законом? Да разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? Только одна тысячная доля ее подлежит закону, остальная часть происходит вне его, в сфере нравов и воззрения общества. А в обществе лакей одет лучше певца и безнаказанно оскорбляет его. Я лучше одет лакея и безнаказанно оскорбляю лакея. Швейцар считает меня выше, а певца ниже себя; когда я соединился с певцом, он счел себя равным с нами и

стал груб. Я стал нагл с швейцаром, и швейцар признал себя ниже меня. Лакей стал нагл с певцом, и певец признал себя ниже его. И неужели это свободное, то, что люди называют положительно-свободное государство, то, в котором есть хоть один гражданин, которого сажают в тюрьму за то, что он, никому не вредя, никому не мешая, делает одно, что может, для того чтобы не умереть с голода?

Несчастное, жалкое создание человек с своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся бесконечный океан добра и зла, фактов, соображений и противоречий! Веками бьются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой неблаго. Проходят века, и где бы, что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблаго. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и справедлива, по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечном движущемся, бесконечно-перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет миллионов других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут миллионы. Цивилизация — благо; варварство — зло; свобода — благо; неволя — зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие запутанные факты? У кого так велик ум, чтоб хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и свесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не оттого, что стою

не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо, сверху взглянуть на нее? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, всемирный дух, проникающий нас всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить себя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу.

И этот-то один непогрешимый блаженный голос заглушает шумное, торопливое развитие цивилизации. Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, с злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему миллионной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной комнате, спокойно судит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет, никому не делая вреда, ходит по горам и долам, утешая людей своим пением, которого оскорбили, чуть не вытолкали нынче, и который, усталый, голодный, пристыженный, пошел спать куда-нибудь на гниющей соломе?

В это время из города в мертвой тишине ночи я далеко-далеко услышал гитару маленького человечка и его голос.

Нет, сказало мне невольно, ты не имеешь права жалеть о нем негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вон он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи, в душе его нет ни упрека, ни злобы, ни раскаянья. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека? Бесконечна благодать и премудрость того, кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, незаконно пытающемуся проникнуть в его законы, его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он кротко смотрит с своей светлой неизмеримой высоты и радуется

на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В своей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты с своим маленьким, пошленьким негодованьем на лакеев, и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного...

*18 июля 1957 г.*

## ПОЛИКУШКА

### I

— Как изволите приказать, сударыня! Только Дутловых жалко. Все один к одному, ребята хорошие; а коли хоть одного дворового не поставит, не миновать ихнему идти, — говорил приказчик, — и то теперь все на них указывают. Впрочем, воля ваша.

И он переложил правую руку на левую, держа обе перед животом, перегнул голову на другую сторону, втянул в себя, чуть не чмокнув, тонкие губы, позакатил глаза и замолчал с видимым намерением молчать долго и слушать без возражений весь тот вздор, который должна была сказать ему на это барыня.

Это был приказчик из дворовых, бритый, в длинном сюртуке (особого приказчицкого покроя), который вечером, осенью, стоял с докладом перед своею барыней. Доклад, по понятиям барыни, состоял в том, чтобы выслушивать отчеты о прошедших хозяйственных делах и делать распоряжения о будущих. По понятиям приказчика, Егора Михайловича, доклад был обряд ровного стояния на обеих вывернутых ногах в углу, с лицом, обращенным к дивану, выслушивания всякой не идущей к делу болтовни и доведения барыни различными средствами до того, чтоб она скоро и нетерпеливо заговорила: «хорошо, хорошо», на все предложения Егора Михайловича.

Теперь дело шло о наборе. С Покровского надо было поставить троих. Двое были несомненно назначены самою судьбой, по совпадению семейных, нравственных и экономических условий. Относительно их не могло быть колебания и спора ни со стороны мира, ни со сто-

роны барыни, ни со стороны общественного мнения. Третий был спорный. Приказчик хотел отстоять тройника Дутлова и поставить семейного дворового Поликушку, имевшего весьма дурную репутацию, неоднократно понадававшегося в краже мешков, вожжей и сена; барыня же, часто ласкавшая оборванных детей Поликушки и посредством евангельских внушений исправлявшая его нравственность, не хотела отдавать его. Вместе с тем она не хотела зла и Дутловым, которых она не знала и никогда не видала. Но почему-то она никак не могла сообразить, а приказчик не решался прямо объяснить ей того, что ежели не пойдет Поликушка, то пойдет Дутлов. «Да я не хочу несчастья Дутловых», — говорила она с чувством. «Ежели не хотите, то заплатите триста рублей за рекрута», — вот что надо было бы отвечать ей на это. Но политика не допускала этого.

Итак, Егор Михайлович устался спокойно, даже прислонился незаметно к притолке, но храня на лице подобострастие, и стал смотреть, как у барыни шевелились губы, как подпрыгивал рюш на ее чепчике вместе с своей тенью на стене под картинкой. Но он вовсе не находил нужным вникать в смысл ее речей. Барыня говорила долго и много. У него сделалась зевотная судорога за ушами; но он ловко изменил это содрогание в кашель, закрывшись рукою и притворно крикнув. Я недавно видел, как лорд Пальмерстон сидел, накрывшись шляпой, в то время как член оппозиции громил министерство, и, вдруг встав, трехчасовую речь отвечал на все пункты противника; я видел это и не удивлялся, потому что нечто подобное я тысячу раз видел между Егором Михайловичем и его барыней. Боялся ли он заснуть или показалось ему, что она уж очень увлекается, он перенес тяжесть своего корпуса с левой ноги на правую и начал сакраментальным вступлением, как всегда начинал:

— Воля ваша, сударыня, только... только сходка теперь стоит у меня перед конторой, и надо конец сделать. В приказе сказано, до покрова нужно свезти рекрут в город. А из крестьян на Дутловых показывают, да и не на кого больше. А мир интересу вашего не соблюдает, ему всё равно, что мы Дутловых разорим. Ведь я знаю, как они бились. Вот с тех пор, как я управляю, всё в бедности жили. Только-только дождался старик мень-



шего племянника, теперь их опять разорить надо. А я, вы изволите знать, о вашей собственности как о своей забочусь. Жалко, сударыня, как вам будет угодно! Они мне ни сват, ни брат, и я с них ничего не взял...

— Да я и не думаю, Егор, — прервала барыня и тотчас же подумала, что он подкуплен Дутловыми.

— ...А только по всему Покровскому лучший двор. Богобоязненные, трудолюбивые мужики. Старик тридцать лет старостой церковным, ни вина не пьет, ни словом дурным не бранится в церковь ходит. (Знал приказчик, чем подкупить.) И главное дело, доложу вам, у него сыновей только двое, а то племянники. Мир указывает, а по-настоящему ему бы надо двойниковый жребий кидать. Другие и от трех сыновей поделились, по своей необходимости, а теперь и правы, а эти за свою добродетель должны пострадать.

Тут же барыня ничего не понимала, — не понимала, что значили тут «двойниковый жребий» и «добродетель»; она слышала только звуки и наблюдала нанковые пуговицы на сюртуке приказчика: верхнюю он, верно, реже застегивал, так она и плотно сидела, а средняя совсем оттянулась и висела, так что давно бы ее пришить надо было. Но, как всем известно, для разговора, особенно делового, совсем не нужно понимать того, что вам говорят, а нужно только понимать, что сам хочешь сказать... Так и поступала барыня.

— Как ты не хочешь понять, Егор Михайлович? — сказала она, — я вовсе не желаю, чтобы Дутлов пошел в солдаты. Кажется, сколько ты меня знаешь, ты можешь судить, что я всё делаю, что могу, для того, чтобы помочь своим крестьянам, и не хочу их несчастья. Ты знаешь, что я всем готова бы пожертвовать, чтоб избавиться от этой грустной необходимости и не отдавать ни Дутлова, ни Хорюшкина. (Не знаю, пришло ли в голову приказчику, что, для того чтоб избавиться от этой грустной необходимости, не нужно жертвовать *всем*, а довольно трехсот рублей; но эта мысль легко могла прийти ему.) Одно только скажу тебе, что Поликеея я ни за что не отдам. Когда, после этого дела с часами, он сам признался мне, и плакал, и клялся, что он исправится, я долго говорила с ним и видела, что он тронут и искренно раскаялся. («Ну, понесла!» — подумал Егор Михайлович и стал рассматривать варенье, которое у нее было

положено в стакан воды: апельсинное или лимонное? «Должно быть, с горечью», — подумал он.) С тех пор вот семь месяцев, а он ни разу пьян не был и ведет себя прекрасно. Мне его жена говорила, что другой человек стал. И как же ты хочешь, чтобы я теперь наказала его, когда он исправился? Да и разве это не бесчеловечно отдать человека, у которого пять человек детей и он один? Нет, ты мне лучше не говори про это, Егор...

И барыня залила из стакана.

Егор Михайлович проследил за прохождением воды через горло и затем возразил коротко и сухо:

— Так Дутлова назначить прикажете?

Барыня всплеснула руками.

— Как ты не можешь меня понять? Разве я желаю несчастья Дутлова, разве я имею что-нибудь против него? Бог мне свидетель, как я всё готова сделать для них. (Она взглянула на картину в углу, но вспомнила, что это не бог. «Ну да всё равно, не в том дело», — подумала она. Опять странно, что она не напала на мысль о трехстах рублях.) Но что же мне делать? Разве я знаю, как и что? Я не могу этого знать. Ну, я на тебя полагаюсь, ты, знаешь, чего я хочу. Делай так, чтобы все были довольны, по закону. Что же делать? Не им одним. Всем бывают тяжелые минуты. Только Поликея нельзя отдать. Ты пойми, что это было бы ужасно с моей стороны.

Она бы еще долее говорила, — она так одушевилась; но в это время в комнату вошла горничная девушка.

— Что ты, Дуняша?

— Мужик пришел, велел спросить у Егора Михайловича, прикажут ли дожидаться сходке? — сказала Дуняша и сердито взглянула на Егора Михайловича. («Экой этот приказчик! — подумала она: — растревожил барыню; теперь опять не даст заснуть до второго часа».)

— Так поди, Егор, — сказала барыня, — делай, как лучше.

— Слушаю-с. (Он уже ничего не сказал о Дутлове.) А за деньгами к садовнику кого прикажете послать?

— Петруша разве не приезжал из города?

— Никак нет-с.

— А Николай не может ли съездить?

— Тятенька от поясицы лежит, — сказала Дуняша.

— Не прикажете ли мне самому завтра съездить? — спросил приказчик.

— Нет, ты здесь нужен, Егор. (Барыня задумалась.)  
Сколько денег?

— Четыреста шестьдесят два рубля-с.

— Поликеея пошли, — сказала барыня, решительно  
взглянув в лицо Егора Михайловича.

Егор Михайлович, не открывая зубов, растянул губы,  
как будто улыбался, и не изменился в лице.

— Слушаю-с.

— Пошли его ко мне.

— Слушаю-с,— и Егор Михайлович пошел в контору.

## II

Поликей, как человек незначительный и замаранный, да еще из другой деревни, не имел протекции ни через ключницу, ни через буфетчика, ни через приказчика или горничную, и *угол* у него был самый плохой, даром что он был сам-сем с женой и детьми. *Углы* еще покойным барином построены были так: в десятиаршинной каменной избе, в середине, стояла русская печь, кругом был *колидор* (как звали дворовые), а в каждом углу был отгороженный досками *угол*. Места, значит, было немного, особенно в Поликеевом углу, крайнем к двери. Брачное ложе со стеганым одеялом и ситцевыми подушками, люлька с ребенком, столик на трех ножках, на котором стряпалось, мылось, клалось всё домашнее и работал сам Поликей (он был коновал), кадушки, платья, куры, теленок и сами семеро наполняли весь угол и не могли бы пошевелиться, ежели бы общая печь не представляла своей четвертой части, на которой ложились и вещи и люди, да ежели бы еще нельзя было выходить на крыльцо. Оно, пожалуй, и нельзя было: в октябре холодно, а теплого платья был один тулуп на всех семерых; но зато можно было греться детям бегая, а большим работая, и тем и другим — влезая на печку, где было до сорока градусов тепла. Оно, кажется, страшно жить в таких условиях, а им было ничего: жить можно было. Акулина обмывала, обшивала детей и мужа, пряла, и ткала, и белила свои холсты, варила и пекла в общей печи, бранилась и сплетничала с соседями. Месячины доставало не только на детей, но еще и посыпку корове. Дрова вольные были, корм скотине тоже. И сенцо из конюшни перепадало. Была полоска огорода. Коровенка отели-

лась; свои куры были. Поликей при конюшне был, убирал двух жеребцов и бросал корм лошадям и скотине; расчищал копыта, насосы спускал и давал мази собственного изобретения, и за это ему деньжонки и припасы перепали. Господского овса тоже оставалось. На деревне был мужичок, который регулярно в месяц за две мерки выдавал двадцать фунтов баранины. Жить бы можно было, коли бы душевного горя не было. А горе было большое всему семейству. Поликей смолоду был в другой деревне при конном заводе. Конюший, к которому он попал, был первый вор по всему околотку: его на поселенье сослали. У этого конюшего Поликей первое ученье прошел и по молодости лет так к *этим пустякам* привык, что потом и рад бы отстать — не мог. Человек он был молодой, слабый; отца, матери не было, и учить некому было. Поликей любил выпить, а не любил, чтобы где что плохо лежало. Гуж ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли или подороже что — всё у Поликеев Ильича место себе находило. Везде были люди, которые вещицы эти принимали и платили за них вином или деньгами, по согласию. Заработки эти самые легкие, как говорит народ: ни ученья тут, ни труда, ничего не надо, и коли раз испытаешь, другой работы не захочется. Только одно нехорошо в этих заработках: хотя и дешево и нетрудно всё достается и жить приятно бывает, да вдруг от злых людей не поладится этот промысел, и за всё разом заплатишь и жизни не рад будешь.

Так-то и с Поликеем случилось. Женился Поликей, и дал ему бог счастье: жена, скотникова дочь, попалась баба здоровая, умная, работающая; детей ему нарожала, один другого лучше. Поликей всё своего промысла не оставлял, и всё шло хорошо. Вдруг пришла на него неудача, и он попался. И попался из пустяков: у мужика ременные вожжи припрятал. Нашли, побили, до барыни довели стали примечать. Другой, третий раз попался. Народ срамить стал, приказчик солдатством погрозил, барыня выговорила, жена плакать, убиваться стала; совсем всё наыворот пошло. Человек он был добрый и не дурной, только слабый, выпить любил и такую сильную привычку взял к этому, что никак не мог отстать. Бывало начнет ругать его жена, даже бить, как он пьяный придет, а он плачет. «Несчастный я, — говорит, — человек, что мне делать? Лопни мои глаза брошу, не стану».

Глядишь, через месяц опять уйдет из дому, напьется, дня два пропадет. «Откуда-нибудь да он деньги берет, чтобы гулять», — рассуждали люди. Последнее дело его было с часами конторскими. Были в конторе старые всяческие стенные часы; давно уже не шли. Пришлось ему одному войти в отпертую контору: польстился он на часы, унес и сбыл в город. Как нарочно случись, что тот лавочник, которому он часы сбыл, приходился сватом одной дворовой и пришел на праздник в деревню и рассказал про часы. Стали добираться, точно кому-нибудь это нужно было. Особенно приказчик Поликея не любил. И нашли. Доложили барыне. Барыня призвала Поликея. Он сразу упал в ноги и с чувством, трогательно во всем признался, как его научила жена. Он всё исполнил очень хорошо. Стала его барыня урезонивать, говорила-говорила, причитала-причитала и о боге, и о добродетели, и о будущей жизни, и о жене и детях, и довела его до слез. Барыня сказала:

— Я тебе прощаю, только обещай ты мне никогда этого вперед не делать.

— Век не буду! Провалиться мне, разорвись моя утроба! — говорил Поликей и трогательно плакал.

Поликей пришел домой и дома, как теленок, ревел целый день и на печи лежал. С тех пор ни разу ничего не было замечено за Поликеем. Только жизнь его стала не веселая; народ на него как на вора смотрел, и, как пришло время набора, все стали на него указывать.

Поликей был коновал, как уже сказано. Как он вдруг сделался коновалом, это никому не было известно, и еще меньше ему самому. На конном заводе, при конюшем, сосланном на поселенье, он не исполнял никакой другой должности, кроме чистки навоза из денников, иногда чистки лошадей и возки воды. Там он не мог выучиться. Потом он был ткачом; потом работал в саду, чистил дорожки; потом за наказание бил кирпич; потом, хотя по оброку, нанимался в дворники купцу. Стало быть, и тут не было ему практики. Но в последнее пребывание его дома как-то понемногу стала распространяться репутация его необычайного, даже несколько сверхъестественного коновальского искусства. Он пустил кровь раз, другой, потом повалил лошадь и поковырял ей что-то в ляжке, потом потребовал, чтобы завели лошадь в станок, и стал ей резать стрелку до крови, несмотря на то,

что лошадь билась и даже визжала, и сказал, что это значит «спускать подкопытную кровь». Потом он объяснял мужику, что необходимо бросить кровь из обеих жил, «для большей легкости», и стал бить колотушкой по тупому ланцету, потом, под брюхом дворниковой лошади, передернул покровку от жешиного головного платка. Наконец стал присыпать купоросом всякие болячки, мочить из склянки и давать иногда внутрь что вздумается. И чем больше он мучил и убивал лошадей, тем больше ему верили и тем больше водили к нему лошадей.

Я чувствую, что нашему брату, господам, не совсем прилично смеяться над Поликеем. Приемы, которые он употреблял для внушения доверия, те же самые, которые действовали на наших отцов, на нас и на наших детей будут действовать. Мужик, брюхом навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и с верой и ужасом глядящий на значительно-нахмуренное лицо Поликея и его тонкие засученные руки, которыми он нарочно жмет именно то место, которое болит, и смело режет в живое тело, с затаенною мыслию: «куда кривая не вынесет», и показывая вид, что он знает, где кровь, где материя, где сухая, где мокрая жила, а в зубах держит целительную тряпку или склянку с купоросом, — мужик этот не может представить себе, чтоб у Поликея поднялась рука резать не зная. Сам он не мог бы этого сделать. А как скоро разрезано, он не упрекнет себя за то, что дал напрасно резать. Не знаю, как вы, а я испытывал с доктором, мучившим по моей просьбе людей, близких моему сердцу, точь-в-точь то же самое... Ланцет, и таинственная белесовая склянка с сулемой, и слова: *чильчак, почечий, спускать кровь, материю, и т. п. разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и т. п.?* *Wage du zu irren und zu träumen!*<sup>1</sup> — это не столько к поэтам относится, сколько к докторам и коновалам.

### III

В тот самый вечер, как сходка, выбирая рекрута, гудела у конторы в холодном мраке октябрьской ночи, По-

---

<sup>1</sup> Дерзай заблуждаться и мечтать! (нем.).

ликей сидел на краю кровати у стола и растирал на нем бутылкой лошадиное лекарство, которого он и сам не знал. Тут были сулема, сера, глауберова соль и трава, которую Поликей собирал, вообразив себе как-то раз, что эта трава очень полезна от запала, и находя не лишним двадцать ее и от других болезней. Дети уже лежали: двое на печи, двое на кровати, один в люльке, у которой сидела Акулина за пряжей. Огарок, оставшийся от господских плохо лежавших свеч, в деревянном подсвечнике стоял на окне, и чтобы муж не отрывался от своего важного занятия, Акулина вставала поправлять огарок пальцами. Были вольнодумцы, которые считали Поликея пустым коновалом и пустым человеком. Другие, и большинство, считали его нехорошим человеком, но великим мастером своего дела. Акулина же, несмотря на то что часто ругала и даже бивала своего мужа, считала его несомненно первым коновалом и первым человеком в свете. Поликей высыпал в горсточку какую-то специю. (Весов он не употреблял и иронически отзывался о немцах, употребляющих весы. «Это, — говорил он, — не аптека!») Поликей прикинул свою специю на руке и встряхнул; но ему показалось мало, и он высыпал в десять раз более. «Всю положу, лучше поднимет», — сказал он сам про себя. Акулина быстро оглянулась на голос властелина, ожидая приказания: но увидав, что дело до нее не касается, пожалала плечами. «Вишь, дошлый! Откуда берется!» — подумала она и опять принялась пряхть. Бумажка, из которой высыпана была специя, упала под стол, Акулина не пропустила этого.

— Анютка, — крикнула она, — видишь, отец уронил, подними.

Анютка выкинула тоненькие босые ножонки из-под капота, покрывавшего ее, как котенок слезла под стол и достала бумажку.

— Натe, тятенька, — сказала она и юркнула опять в постель озябшими ножонками.

— Сто толкается, — пропищала ее меньшая сестра, сюсюкая и засыпающим голосом.

— Я вас! — проговорила Акулина, и обе головы скрылись под капотом.

— Три целковых даст, — проговорил Поликей, затыкая бутылку, — вылечу лошадь. Еще дешево, — приба-

вил он, — Поломай-ка голову, поди! Акулина, сходи попроси табачку у Никиты. Завтра отдам.

И Поликей достал из штанов липовый, когда-то выкрашенный чубучок с сургучом вместо мундштука и стал налаживать трубку.

Акулина оставила веретено и вышла, не зацепившись, что было очень трудно. Поликей открыл шкафчик, поставил бутылку и опрокинул в рот пустой штофчик; но водки не было. Он поморщился, но когда жена принесла табак и он набил трубку, закурил и сел на кровать, лицо его просияло довольством и гордостью человека, окончившего свой дневной труд. Думал ли он о том, как он завтра прихватит язык лошади и вольет ей в рот эту удивительную микстуру, или он размышлял о том, как для нужного человека ни у кого не бывает отказа, и что вот Никита прислал-таки табачку. Ему было хорошо. Вдруг дверь, висевшая на одной петле, откинулась, и в угол вошла *верховал* девушка, не вторая, а третья, маленькая, которую держали для посылок. *Верх*, как всем известно, значит барский дом, хотя бы он был и внизу. Аксютка — так звали девку — всегда летала как пуля, и при этом руки ее не сгибались, а качались, как маятники, по мере быстроты ее движения, не вдоль боков, а перед корпусом; щеки ее всегда были краснее ее розового платья; язык ее шевелился всегда так же быстро, как и ноги. Она влетела в комнату и, ухватившись для чего-то за печку, начала качаться и, как будто желая выговорить непременно не более как по два, три слова зараз, вдруг, задыхаясь, произнесла следующее, обращаясь к Акулине:

— Барыня велела Поликею Ильичу сею минутою притить вверх, велела... (Она остановилась и тяжело перевела дух.) Егор Михалыч был у барыни о некрутах говорили, Поликей Ильича поминали... Авдотья Миколавна велела сею минутою притить. Авдотья Миколавна велела... (опять вздох) сею минутою притить

С полминуты Аксютка посмотрела на Поликее, на Акулину, на детей, которые высунулись из-под одеяла, схватила скорлупку, валявшуюся на печи, бросила в Анютку и, проговорив еще раз «сею минутою притить», как вихрь вылетела из комнаты, и маятники с обычной быстротой замотались поперек линии ее бега.



Акулина встала опять и достала мужу сапоги. Сапоги были скверные, прорванные, солдатские. Сняла кафтан с плечи и подала ему, не глядя на него.

— Ильич, рубаху переменить не станешь?

— Не, — сказал Поликей.

Акулина не взглянула на его лицо ни разу, в то время как он молча обувался и одевался, и хорошо сделала, что не взглянула. Лицо у Поликея было бледно, нижняя челюсть дрожала, и в глазах было то плаксивое, покорное и глубоко несчастное выражение, которое бывает только у людей добрых, слабых и виноватых. Он причесался и хотел выйти, жена остановила его и поправила ему тесемку рубахи, висевшую на армяке, и надела на него шапку.

— Чтоб, Поликей Ильич, али барыня вас требуют? — раздался голос столярной жены из-за перегородки.

Стоярова жена только нынче утром имела с Акулиной жаркую неприятность за горшок щелока, который у ней разлили Поликеевы дети, и ей в первую минуту приятно было слышать, что Поликея зовут к барыне: должно быть, не за добром. Притом она была тонкая, политичная и язвительная дама. Никто лучше ее не умел отбрить словом; так, по крайней мере, она сама про себя думала.

— Должно быть, в город за покупками хотят послать, — продолжала она. — Я так полагаю, что верного человека изберут, вас и посылают. Вы мне тогда чайку четверточку купите, Поликей Ильич.

Акулина удержала слезы, и губы ее стянулись в злое выражение. Так бы и вцепилась она в паскудные волосы сволочи этой, столярной жены. Но как взглянула она на своих детей и подумала, что они останутся сиротами, и она солдаткой-вдовой, забыла она язвительную столярную жену, закрыла лицо руками, села на постель, и голова ее опустилась на подушки.

— Мамуска, ты меня сплющила — проворчала сюсюкающая девочка, выдергивая свой салоп из-под локтя матери.

— Хоть бы перемерли вы все! На горе народила я вас! — прокричала Акулина и зарыдала на весь угол, в утеху столярной жене, не забывшей еще про утренний щелок.

Прошло полчаса. Ребенок закричал, Акулина встала и покормила его. Она уж не плакала, но, облокотив свое еще красивое худое лицо, уставилась глазами на догорающую свечу и думала о том, зачем она вышла замуж, зачем столько солдат нужно, и о том еще, как бы ей отплатить столяровой жене.

Послышались шаги мужа; она отерла следы слез и встала, чтобы дать ему дорогу. Поликей вошел козырем, бросил шапку на кровать, отдулся и стал распоясываться.

— Ну что? Зачем звала?

— Гм, известно! Поликушка последний человек, а как дело пужно; так кого? Поликушку.

— Какое дело?

Поликей не торопился отвечать; он закурил трубку и сплюнул.

— К купцу за деньгами велела ехать.

— Деньги везть? — спросила Акулина.

Поликей усмехнулся и покачал головой.

— Куды ловка на словах! Ты, говорит, был на замечанье, что ты не верный человек, только я тебе верю больше, чем другому кому. (Поликей говорил громко затем, чтобы соседи слышали.) Ты мне обещал исправиться, говорит; вот тебе, значит, первое доказательство, что я тебе верю: съезди, говорит, к купцу, возьми деньги и привези. Я, говорю, сударыня, мы, говорю, все ваши холопы и должны служить как богу, так и вам, потому я чувствую себя, что могу всё изделать для вашего здоровья и от должности ни от какой не могу отказываться; что прикажете, то и исполню, потому я есть ваш раб. (Он опять усмехнулся тою особенною улыбкой слабого, доброго и виноватого человека.) Так ты, говорит, сделаешь верно? Ты, говорит, понимаешь ли, что твоя судьба зависит от этого? Как могу не понимать, что я всё могу сделать? Коли на меня наговорили, так обвинить каждого можно, а я никогда ничем, кажется, противу вашего здоровья не мог и помыслить. Так, значит, ее заговорил, что совсем моя барыня мягкая стала. Ты, говорит, мне первый человек будешь. (Он помолчал, и опять та же улыбка остановилась на его лице.) Я очень знаю, как с ними говорить. Бывало, как я еще по оброку

ходил, какой наскочит! А только дай поговорить с ним, так его умаслю, что шелковый станет.

— И много денег? — спросила еще Акулина.

— Три полтысячи рублёв, — небрежно отвечал Поликей.

Она покачала головой.

— Когда ехать?

— Завтра велела. Возьми, говорит, лошадь, какую хочешь, зайди в контору и ступай с богом.

— Слава тебе, господи! — сказала Акулина, вставая и крестясь. — Помоги тебе бог, Ильич, — прибавила она шёпотом, чтобы не слышали за перегородкой, и придерживая его за рукав рубахи. — Ильич, слушай меня, Христом-богом прошу: как поедешь, крест поцелуй, что в рот капли не возьмешь.

— А то пить стану, с такими деньгами ехамши! — фыркнул он. — Уж как там в фортепьян играл кто-то, ловко, беда! — прибавил он, помолчав и усмехаясь. — Должно, барышня. Я так-то перед ней стоял, перед барыней, у горки, а барышня там, за дверью, закатывала. Запустит, запустит, так складно подлаживает, что ну! Поиграл бы я, право. Я бы дошел. Как раз бы дошел. Я до этих делов ловок. Рубаху завтра чистую дай.

И они легли спать счастливые.

## V

Сходка между тем шумела у конторы. Дело было нешуточное. Мужики почти все были в сборе, и в то время как Егор Михайлович ходил к барыне, головы накрылись, больше голосов стало слышно в общем говоре, и голоса стали громче. Стон густых голосов, изредка перебиваемый задыхающеюся, хриплою, крикливою речью, стоял в воздухе, и стон этот долетал, как звук шумящего моря, до окошек барыни, которая испытывала при этом нервическое беспокойство, похожее на чувство, возбуждаемое сильною грозой. Не то страшно, не то неприятно ей было. Всё ей казалось, что вот-вот еще громче и чаще станут голоса и случится что-нибудь. «Как будто нельзя всё сделать тихо, мирно, без спору, без крику, — думала она, — по христианскому, братолюбивому и кроткому закону».

Много голосов говорили вдруг, но громче всех кричал Федор Резун, плотник. Он был двойниковый и напал на Дутловых. Старик Дутлов защищался; он повыступил вперед из толпы, за которую стоял сначала, и, захлебываясь, широко разводя руками и подергивая бородкой, гнусил так часто, что самому ему трудно было бы понять, что он говорил. Дети и племянники, молодец к молодцу, стояли и жались за ним, а старик Дутлов напоминал собою матку в игре в *коршуна*. Коршуном был Резун, и не один Резун, а все двойники и все одинокие, почти вся сходка, наступавшая на Дутлова. Дело было в том, что Дутлова брат был лет тридцать тому назад отдан в солдаты, и потому он не хотел быть на очереди с тройниками, а хотел, чтобы службу его брата зачли и его сравнивали с двойниками в общий жеребий и из них бы уж взяли третьего рекрута. Тройниковых было еще четверо, кроме Дутлова; но один был староста, и его госпожа уволила; из другой семьи поставлен был рекрут в прошлый набор; из остальных двух были назначены двое, и один из них даже и не пришел на сходку, только баба его грустно стояла позади всех, смутно ожидая, что как-нибудь колесо перевернется на ее счастье; другой же из двух назначенных, рыжий Роман, в оборванном армяке, хотя и не бедный, стоял прислонившись у крыльца и, наклонив голову, всё время молчал, только изредка внимательно вглядывался в того, кто заговорил погромче, и онять опускал голову. Так и веяло несчастьем от всей его фигуры. Старик Семен Дутлов был такой человек, что всякий, немного знавший его, отдал бы ему на сохранение сотни и тысячи рублей. Человек он был степенный, богобоязненный, состоятельный; был он притом церковным старостой. Тем разительнее был азарт, в котором он находился.

Резун-плотник был, напротив, человек высокий, черный, буйный, пьяный, смелый и особенно ловкий в спорах и толках на сходах, на базарах, с работниками, купцами, мужиками или господами. Теперь он был спокоен, язвителен и со всей высоты своего роста, всею силой звучного голоса и ораторского таланта давил захлебывавшегося и выбитого совершенно из своей степенной колеи церковного старосту. Участниками в споре были еще: круглолицый, моложавый, с четвероугольною головою и курчавою бородкой, коренастый Гараська Копы-

лов, один из говорунов следующего за Резуном более молодого поколения, отличавшийся всегда резкою речью и уже заслуживший себе вес на сходке. Потом Федор Мельничный, желтый, худой длинный, сутуловатый мужик, тоже молодой, с редкими волосами на бороде и с маленькими глазками, всегда желчный, мрачный, во всем находивший злую сторону и часто озадачивавший сходку своими неожиданными и отрывистыми вопросами и замечаниями. Оба эти говоруна были на стороне Резуна. Кроме того, вмешивались изредка два болтуна: один, с добродушной рожей и окладистой русою бородкой, Храпков, всё приговаривавший: «друг ты мой любезный», и другой, маленький, с птичьей рожицей, Жидков, тоже приговаривавший ко всему: «выходит, братцы мои», обращавшийся ко всем и говоривший складно, но ни к селу ни к городу. Оба они были то за того, то за другого, но их никто не слушал. Были и другие такие же, но эти двое так и семенили между народом, больше всех кричали, пугая барыню, меньше всех были слушаемы и, одуренные шумом и криком, вполне предавались удовольствию чесания языка. Было еще много разных характеров мирян: были мрачные, приличные, равнодушные, загнанные; были и бабы позади мужиков, с палочками; но про всех их, бог даст, я расскажу в другой раз. Толпа же составлялась вообще из мужиков, стоявших на сходке, как в церкви, и позади шёпотом разговаривавших о домашних делах, о том, когда в роще вырезки накладывать, или молча ожидавших, скоро ли кончат галдеть. А то были еще богатые, которым сходка ничего не может прибавить или убавить в их благосостоянии. Таков был Ермил, с широким глянце-витым лицом, которого мужики называли толстобрюхим за то, что он был богат. Таков был еще Старостин, на лице которого лежало самодовольное выражение власти: «Вы, мол, что ни говорите, а меня никто не тронет. Четверо сыновей, да вот никого не отдадут». Изредка и их задирали вольнодумцы, как Копыл и Резун, и они отвечали, но спокойно и твердо, с сознанием своей неприкосновенности. Если Дутлов ходил на матку в игре в коршуна, то парни его не вполне напоминали собою птенцов: не металась, не пищали, а стояли спокойно позади его. Старший, Игнат, был уже тридцати лет; второй, Василий, был тоже женат, но негоден в рекруты;

третий, Илюшка, племянник, только что женившийся, белый, румяный, в щегольском тулупе (он в ямщиках ездил), стоял, поглядывал на народ, почесывая иногда в затылке под шляпой, как будто дело не до него касалось, а его-то именно и хотели оторвать коршуны.

— Так-то и мой дед в солдатах был, — говорил Резун, — так и я от жеребья отказываться стану. Такого, брат, закона нет. Прошлый набор Михеичева забрали, а его дядя еще домой не приходил.

— У тебя ни отец, ни дядя царю не служили, — в одно и то же время говорил Дутлов, — да и ты-то ни господам, ни миру не служил, только бражничал, да дети от тебя поделились. Что жить с тобой нельзя, так и судишь, на других показываешь, а я сотским десять годов ходил, старостой ходил, два раза горел, мне никто не помог; а за то, что в дворе у нас мирно да честно, так и разорить меня? Дайте же мне брата назад. Он, небось, там и помер. Судите по правде, по-божьему, мир православный, а не так, что пьяный сбрешет, то и слушать.

В одно и то же время Герасим говорил Дутлову:

— Ты на брата указываешь, а его не миром отдали, а за его беспутство господа отдали; так он тебе не отговорка.

Еще Герасим не договорил, как мрачно начал желтый и длинный Федор Мельничный, выступая вперед:

— То-то господа отдают кого вздумают, а потом миром разбирай. Мир приговорил твоему сыну идти, а не хочешь, проси барыню, она, може, велит мне, от детей, одинокому, лоб забрить. Вот те и заком, — сказал он желчно. И опять, махнув рукой, стал на прежнее место.

Рыжий Роман, у которого был назначен сын, поднял голову и проговорил: «Вот так так!» — и даже сел с досады на приступку.

Но это были еще не все голоса, говорившие вдруг. Кроме тех, которые, стоя позади, говорили о своих делах, и болтуны не забывали своей должности.

— И точно, мир православный, — говорил маленький Жидков, повторяя слова Дутлова, — надо судить по христианству. По христианству, значит, братцы мои, судить надо.

— Надо по совести судить, друг ты мой любезный, — говорил добродушный Храпов, повторяя слова Копылова

и дергая Дутлова за тулуп, — на то господская воля была, а не мирское решение.

— Верно! Вон оно что! — говорили другие.

— Кто пьяный брешет? — возражал Резун. — Ты меня поил, что ли, али сын твой, что по дороге подбирают, меня вином укорять станет? Что, братцы, надо решение сделать. Коли хотите Дутлова миловать, хоть не то двойников, одиноких назначайте, а он смеяться нам будет.

— Дутлову идти! Что говорить!

— Известное дело! Тройникам вперед надо жеребий брать, — заговорили голоса.

— Еще что барыня велит. Егор Михалыч сказывал, дворового поставить хотели, — сказал чей-то голос.

Это замечание задержало немного спор, но скоро опять он загорелся и снова перешел в личности.

Игнат, про которого Резун сказал, что его подбирали на дороге, стал доказывать Резуну, что он пилу украл у прохожих плотников и свою жену чуть до смерти не убил пьяный.

Резун отвечал, что жену он и трезвый и пьяный бьет, и всё мало, и тем всех рассмешил. Насчет же пилы он вдруг обиделся и приступил к Игнату ближе и стал спрашивать:

— Кто украл?

— Ты украл, — смело отвечал здоровенный Игнат, подступая к нему еще ближе.

— Кто украл? не ты ли? — кричал ему Резун.

— Нет ты! — кричал Игнат.

После пилы дело дошло до краденой лошади, до мешков с овсом, до какой-то полоски огорода на селищах, до какого-то мертвого тела. И такие страшные вещи наговорили себе оба мужика, что ежели бы сотая доля того, в чем они попрекали себя, была правда, их бы следовало обоих, по закону, тотчас же в Сибирь сослать, по крайней мере, на поселенье.

Дутлов-старик между тем избрал другой род защиты. Ему не нравился крик сына; он, останавливая его, говорил: «Грех, брось! Тебе говорят», а сам доказывал, что тройники не одни те, у кого три сына вместе, а и те, которые поделались. И он указал еще на Старостина.

Старостин слегка улыбнулся, крякнул и, погладив бороду с приемом богатого мужика, отвечал, что на то

воля господская. Должно, заслужил его сын, коли велено его обойти.

Насчет же поделенных семейств Герасим тоже разбил доводы Дутлова, заметив, что надо было делиться не позволять, как при старом барине было, что спустя лето по малину не ходят, что теперь не одиноких же отдавать стать.

— Разве из баловства делились? За что ж их теперь разорить вконец? — слышались голоса делёных, и болтуны пристали к этим голосам.

— А ты купи рекрута, коли не любо. Осилишь! — сказал Резун Дутлову.

Дутлов отчаянно запахнул кафтан и стал за других мужиков.

— Ты мои деньги считал, видно, — проговорил он злобно. — Вот что еще Егор Михалыч скажет от барыни.

## VI

Действительно, Егор Михайлович в это время вышел из дома. Шапки одна за другой поднялись над головами, и по мере того как подходил приказчик, одна за другою открывались плешивые с середины и спереди, седые, полуседые, рыжие, черные и русые головы, и понемногу, по немногу затихали голоса и, наконец, совершенно затихли. Егор Михайлович стал на крыльцо и показал вид, что хочет говорить. Егор Михайлович в своем длинном сюртуке, с неудобно всунутыми в передние карманы руками, в фабричной, надвинутой наперед фуражке и стоя твердо расставленными ногами на возвышении, командуя над этими поднятыми и обращенными к нему, большею частью старыми и большею частью красивыми, бородатыми головами, имел совсем другой вид, чем перед барыней. Он был величествен.

— Вот, ребята, барынино решение: дворовых отдавать ей неуютно, а кого из себя вы сами назначите, тот и пойдет. Нынче нам троих надо. По-настоящему два с половиной, да половина вперед пойдет. Всё равно: не нынче, так в другой раз.

— Известно! Это дело! — сказали голоса.

— По моему суждению, — продолжал Егор Михайлович, — Хорюшкиному и Митюхиному Ваське идти, — это уж сам бог велел.



— Так точно, верно, — сказали голоса.

— Третьему надо либо Дутлову, либо из двойниковых. Как вы скажете?

— Дутлову, — заговорили голоса, — Дутловы тройники.

И опять понемногу, понемногу — начался крик, и опять дело дошло как-то до пилы, до полоски на селищах и до каких-то украденных с барского двора вередей. Егор Михайлович уж двадцать лет управлял имением и был человек умный и опытный. Он постоял, послушал с четверть часа и вдруг велел всем молчать, а Дутловым кидать жеребий, кому из троих. Нарезали жеребьев, Храпков стал доставать из потрясаемой, шляпы и вынул жеребий Илюшкин. Все замолчали.

— Мой, что ль? Покажь сюда, — сказал Илья оборвавшимся голосом.

Все молчали. Егор Михайлович велел принести к завтрашнему дню рекрутские деньги, по семи копеек с тягла, и, объявив, что всё кончено, распустил сходку. Толпа двинулась, надевая шапки за углом и гудя говором и шагами. Приказчик стоял на крыльце, глядя на уходивших. Когда молодежь-Дутловы прошли за угол, он подозвал к себе старика, который сам остановился, и вошел с ним в контору.

— Жалко мне тебя, старик, — сказал Егор Михайлович, садясь в кресло перед столом, — на тебе черед. Не купишь за племянника или купишь?

Старик, не отвечая, значительно взглянул на Егора Михайловича.

— Не миновать, — ответил Егор Михайлович на его взгляд.

— И рады бы купили, не из чего, Егор Михалыч. Две лошади в лето ободрали. Женил племянника. Видно, судьба наша такая за то, что честно живем. Ему хорошо говорить. (Он вспомнил о Резуне.)

Егор Михайлович потер рукой лицо и зевнул. Ему, видно, уж наскучило, и пора было чай пить.

— Эх, старый, не грехи! — сказал он, — а поищи-ка в подполье, авось найдешь стареньких целковеньких четыре сотенка. Я тебе такого охотничка куплю, что чудо. Намедни назывался человек один.

— В губернии? — спросил Дутлов, под губерней разумея город.

— Что ж, купишь?

— И рад бы, вот перед богом, да...

Егор Михайлович строго прервал его:

— Ну, так слушай ты меня, старик: чтоб Илюшка над собой чего не сделал; как пришло, нынче ли, завтра ли, чтоб сейчас и везти. Ты повезешь, ты и отвечаешь, а ежели что, избави бог, над ним случится, старшего сына забрею. Слышишь?

— Да нельзя ли двойниковых, Егор Михалыч, ведь обидно, — сказал он, помолчав, — как брат мой в солдатах помер, еще сына берут: за что же на меня напасть такая? — заговорил он, почти плача и готовый удариться в ноги.

— Ну, ступай, ступай, — сказал Егор Михайлович: — ничего нельзя, порядок. За Илюшкой смотреть; ты отвечаешь.

Дутлов пошел домой, задумчиво постукивая лутошкой по колчужкам дороги.

## VII

На другой день рано утром перед крыльцом дворового «флигера» стояла разъезжая тележка (в которой и приказчик ездил), запряженная ширококостным гнедым меринном, называемым неизвестно почему Барабаном. Анютка, Поликеева старшая дочь, несмотря на дождь с крупой и холодный ветер, босиком стояла перед головой мерина, издалека, с видимым страхом, держа его одною рукой за повод, другую придерживая на своей голове желто-зеленую кацавейку, исполнявшую в семействе должность одеяла, шубы, чепчика, ковра, пальто для Поликея и еще много других должностей. В *угле* происходила возня. Было еще темно; чуть-чуть пробивался утренний свет дождливого дня сквозь окно, залепленное кое-где бумагой. Акулина, оставив на время истряпню в печи и детей, из которых малые еще не вставали и зябли, так как одеяло их было взято для одежды и на место его был дан им головной платок матери, — Акулина была занята собиранием мужа в дорогу. Рубаха была чистая. Сапоги, которые, как говорится, просили каши, причиняли ей особенную заботу. Во первых, она сняла с себя толстые шерстяные единственные чулки и дала их мужу; а во-вторых, из потника, который лежал

плохо в конюшне и который Ильич третьего дня принес в избу, она ухитрилась сделать стельки таким образом, чтобы заткнуть дыры и предохранить от сырости Ильичовы ноги. Ильич сам, сидя с ногами на кровати, был занят перевертыванием кушака таким образом, чтоб он не имел вида грязной веревки. А сюсюкающая сердитая девочка в шубе, которая, даже надетая ей па голову, все-таки путалась у ней в ногах, была отправлена к Никите попросить шапки. Возню увеличивали дворовые, приходившие просить Ильича купить в городе — той игло-лок, той чайку, той деревянного маслица, тому табачку и сахарцу столяровой жене, успевшей уже поставить самовар и, чтобы задобрить Ильича, принесшей ему в кружке напиток, который она называла чаем. Хотя Никита и отказал в шапке и надо было привести в порядок свою, то есть засунуть выбивавшиеся и висевшие из ней хлопки и зашить коновальной иглой дыру, хоть сапоги со стелками из потника и не влезали сначала на ноги, хоть Анютка и промерзла и выпустила было Барабана, и Машка в шубе пошла на ее место, а потом Машка должна была снять шубу, и сама Акулина пошла держать Барабана, — кончилось тем, что Ильич надел-таки на себя почти всё одеяние своего семейства, оставив только кацавейку и *тухли*, и, убравшись, сел в телегу, запахнулся, поправил сено, еще раз запахнулся, разобрал вожжи, еще плотнее запахнулся, как это делают очень степенные люди, и тронул.

Мальчишка его, Мишка, выбежавший на крыльцо, потребовал, чтоб его прокатили. Сюсюкающая Маска тоже стала просить, чтоб ее «пlockатили и сто ей тепло и без субы», и Поликей придержал Барабана, улыбнулся своей слабою улыбкой, а Акулина подсадила ему детей и, нагнувшись к нему, шепотом проговорила, чтоб он помнил клятву и ничего не пил дорогой. Поликей провез детей до кузни, высадил их, опять укутался, опять поправил шапку и поехал один маленькою, степенною рысью, подрагивая на толчках щеками и постукивая ногами по лубку телеги. Машка же и Мишка с такою быстротой и с таким визгом полетели боснком к дому по скользкой горе, что забежавшая с деревни на дворню собака посмотрела на них п вдруг, поджавши хвост, с лаем пустилась домой, отчего визг Поликеевых наследников еще удесятирился.

Погода была скверная, ветер резал лицо, и не то снег, не то дождь, не то крупа изредка принималась стегать Ильича по лицу и голым рукам, которые он прятал с холодными вожжами под рукава армяка, и по кожаной крышке хомута, и по старой голове Барабана, который прижимал уши и жмурился.

Потом вдруг переставало, мгновенно расчищалось; ясно виднелись голубоватые снеговые тучи, и солнце как будто начинало проглядывать, но нерешительно и невесело, как улыбка самого Поликеея. Несмотря на то, Ильич был погружен в принятые мысли. Он, которого на поселение сослать хотели, которому угрожали солдатством, которого только ленивый не ругал и не бил, которого всегда тыкали туда, где похуже, — он едет теперь получать *сумму* денег, и большую сумму, и барыня ему доверяет, и едет он в приказчицкой тележке на Барабане, на котором сама барыня ездит, едет как дворник какой, с ременными гужами и вожжами. И Поликей усаживался прямее, поправлял хлопки в шапке и еще запахивался. Впрочем, ежели Ильич думал, что он совершенно похож на богатого дворника, то он заблуждался. Оно, правда, всяки, знает, что и от десяти тысяч торговцы в тележке с ременною упряжью ездят; только это то, да не то. Едет человек, с бородой, в синем ли, черном ли кафтане, на сытой лошади, один сидит в ящике: только взглянешь, сыта ли лошадь, сам сыт ли, как сидит, как запряжена лошадь, как ошинена тележка, как сам подпоясан, сейчас видно, на тысячи ли, на сотни ли мужик торгует. Всякий опытный человек, как только бы поглядел вблизи на Поликеея, на его руки, на его лицо, на его недавно отпущенную бороду, на кушак, на сено, брошенное кое-как в ящик, на худого Барабана, на стертые шины, сейчас узнал бы, что это едет хлопишка, а не купец, не гуртовщик, не дворник, ни от тысячи, ни от ста, ни от десяти рублей. Но Ильич так не думал, он заблуждался, и приятно заблуждался. Три полтысячи рублей повезет он за своею пазухой. Захочет, повернет Барабана вместо дома к Одесту, да и поедет куда бог приведет. Только он этого не сделает, а верно привезет деньги барыне и будет говорить, что и не такие деньги важивали. Поравнявшись с кабаком, Барабан стал затягивать левую вожжу, останавливаться и приворачивать; но Поликей, несмотря на то что у него были день-

ги, данные на покупки, свиснул Барабана кнутом и проехал. То же самое он сделал и у другого кабака и к полдням слез с телеги и, отворив ворота купеческого дома, в котором останавливались все барынины люди, провёл тележку, отпряг, приставил к сепу лошадь, пообедал с купеческими работниками, не преминув рассказать, за каким он важным делом приехал, и пошел, с письмом в шапке, к садовнику. Садовник, знавший Поликея прочтя письмо, с видимым сомнением порасспросил, точно ли ему велено везти деньги. Ильич хотел обидеться, но не сумел, только улыбнулся своею улыбкой. Садовник перечел еще письмо и отдал деньги. Получив деньги, Поликей положил их за пазуху и пошел на квартиру. Ни полпивная, ни питейные дома, ничто не соблазнило его. Он испытывал приятное раздражение во всем существе и не раз останавливался у лавок с искушающими товарами: сапогами, армяками, шапками, ситцами и съестным. И, постояв немножко, отходил с приятным чувством: могу всё купить, да вот не сделаю. Он пришел на базар купить, что ему велено было, забрал всё и поторговал дубленую шубу, за которую просили двадцать пять рублей. Продавец почему-то, глядя на Поликея, не верил, чтобы Поликей мог купить; но Поликей показал ему на пазуху, говоря, что всю лавку его купить может, коли захочет, и потребовал примерять шубу, помял, потрепал ее, подул в мех, даже провонял от нее, и, наконец, со вздохом, снял. «Неподходящая цена. Коли бы из пятнадцати рублёв уступил», — сказал он. Купец сердито перекинул шубу через стол, а Поликей вышел и в веселом духе отправился на квартиру. Поужинав, напив Барабана и задав ему овса, он взлез на печку, вынул конверт, долго осматривал его и попросил грамотного дворника прочесть адрес и слова: «Со вложением тысячи шестисот семнадцати рублей ассигнациями». Конверт был сделан из простой бумаги, печати были из бурого сургуча с изображением якоря: одна большая в середине, четыре по краям; сбоку было капнуто сургучом. Ильич всё это осмотрел и заучил и даже потрогал острые концы ассигнаций. Какое-то детское удовольствие испытывал он, зная, что в его руках находятся такие деньги. Он засунул конверт в дыру шапки, шапку положил под голову и лег; но и ночью он несколько раз просыпался и щупал конверт. И всякий раз, на-

ходя конверт на месте, он испытывал приятное чувство сознания, что вот он, Поликей, осрамленный, забиженный, везет такие деньги и доставит их верно, — так верно, как не доставил бы и сам приказчик.

## VIII

Около полуночи и купцовы работники и Поликей были разбужены стуком в ворота и криком мужиков. Это были рекруты, которых привезли из Покровского. Их было человек десять: Хорюшкин, Митюшкин и Илья (племянник Дутлова), двое подставных, староста, старик Дутлов и подводчики. В избе горел ночник, кухарка спала на лавке под образами. Она вскочила и стала зажигать свечу. Поликей тоже проснулся и, перегнувшись с печи стал смотреть на входивших мужиков. Все входили, крестились и садились на лавки. Все они были совершенно спокойны, так что узнать нельзя было, кто кого привез в отдачу. Они здоровались, гутарили, спрашивали поесть. Правда, некоторые были молчаливы и грустны; зато другие были необыкновенно веселы, видимо выпивши. В том числе был и Илья, до сих пор никогда не пивший.

— Что ж, ребята, ужинать али спать ложиться? — спросил староста.

— Ужинать, — отвечал Илья, распахнув шубу и усевшись на лавке. — Посылай за водкой.

— Будет те водки-то, — отвечал староста мельком и снова обратился к другим: — Так хлебца закусите, ребята. Что народ будить?

— Водки дай, — повторил Илья, ни на кого не глядя и таким голосом, что видно было, что он не скоро отстанет.

Мужики послушались совета старосты, достали из телег хлебушка, поели, попросили квасу и полегли, кто на полу, кто на печи.

Илья изредка всё повторял: «Водки дай, я говорю, подай». — Вдруг он увидел Поликея: — Ильич, а, Ильич! Ты здесь, друг любезный? Ведь я в солдаты иду, совсем распрощался с матушкой, с хозяйкой... Как выла! В солдаты упекли. Поставь водки.

— Денег нет, — отвечал Поликей. — Еще, бог даст, затылок, — прибавил Поликей утешая.

— Нет, брат, как береза чистая, никакой болезни не видал над собой. Уж какой мне затылок? Каких еще царю солдат надо?

Поликей стал рассказывать историю, как дохтору синенькую мужик дал и тем уволился.

Илья подвинулся к печи и разговорился.

— Нет, Ильич, теперь конечно, и сам не хочу оставаться. Дядя меня упек. Разве мы бы не купили за себя? Нет, сына жалко и денег жалко. Меня отдают... Теперь сам не хочу. (Он говорил тихо, доверчиво, под влиянием тихой грусти.) Одно, матушку жалко: как убивалась, сердешная! Да и хозяйку: так, пи за что погубили бабу; теперь пропадет; солдатка, одно слово. Лучше бы не женить. Зачем они меня женили? Завтра приедут.

— Да что же вас так рано привезли? — спросил Поликей: — то ничего не слыхать было, а то вдруг...

— Вишь, боятся, чтоб я над собой чего не сделал, — отвечал Илюшка улыбаясь. — Небось, ничего не сделаю. Я и в солдатах не пропаду, только матушку жалко. Зачем они меня женили? — говорил он тихо и грустно.

Дверь отворилась, крепко хлопнула, и вошел старик Дутлов, отряхая шапку, в своих лаптях, всегда огромных, точно на ногах у него были лодки.

— Афанасий, — сказал он, перекрестясь и обращаясь к дворнику, — нет ли фонарика, овса всыпать?

Дутлов не взглянул на Илью и спокойно начал зажигать огарок. Рукавицы и кнут были засунуты у него за поясом, и армяк аккуратно подпоясан; точно он с обозом приехал; так обычно просто, мирно и озабоченно хозяйственным делом было его трудовое лицо.

Илья, увидав дядю, замолк, опять мрачно опустил глаза куда-то на лавку и заговорил, обращаясь к старосте:

— Водки дай, Ермила. Вина пить хочу.

Голос его был злой и мрачный.

— Какое теперь вино? — отвечал староста, хлебая из чашки. — Видишь, люди послали да и легли; а ты что буянишь?

Слово «буянишь», видимо, навело его на мысль буянить.

— Староста, я беду наделаю, коли ты мне водки не дашь.

— Хоть бы ты его урезонил, — обратился староста к Дутлову, который зажег уже фонарь, но, видимо, остановился послушать, что еще дальше будет, и искоса с соболезнованием смотрел на племянника, как будто удивляясь его ребячеству.

Илья, потупившись, опять проговорил:

— Виная дай, беду наделаю.

— Брось, Илья! — сказал староста коротко, — право, брось, лучше будет.

Но не успел он еще выговорить этих слов, как Илья вскочил, ударил кулаком в стекло и закричал во всю мочь:

— Не хотите слушать, вот вам! — и бросился к другому окну, чтоб и то разбить.

Ильич во мгновение ока перекатился два раза и спрятался в углу печи, так что распугал всех тараканов. Староста бросил ложку и побежал к Илье. Дутлов медленно поставил фонарь, распоясаясь, пощелкивая языком, покачал головой и подошел к Илье, который уж возился с старостой и дворником, не пускавшими его к окну. Они поймали его за руки и держали, казалось, крепко; но как только Илья увидел дядю с кушаком, силы его удесятерились, он вырвался и, закатив глаза, подступил с сжатыми кулаками к Дутлову.

— Убью, не подходи, варвар! Ты меня загубил, ты с своими сыновьями-разбойниками, ты загубил меня. За чем меня женили? Не подходи, убью!

Илюшка был страшен. Лицо его было багровое, глаза не знали, куда деваться; всё его здоровое молодое тело дрожало как в лихорадке. Он, казалось, хотел и мог убить всех троих мужиков, наступавших на него.

— Братнину кровь пьешь, кровопийца.

Что-то сверкнула на вечно спокойном лице Дутлова. Он сделал шаг вперед.

— Не хотел добром, — проговорил он, и вдруг, откуда взялась энергия, быстрым движением схватил он племянника, повалился с ним на землю и с помощью старосты начал крутить ему руки.

Минут с пять боролись они; наконец Дутлов с помощью мужиков встал, отдирая руки Ильи от своей шубы, в которую тот вцепился, — встал сам, потом поднял Илью с связанными назад руками и посадил его на лавку в углу.



— Говорил, хуже будет, — сказал он, задыхаясь еще от борьбы и оправляя поясok рубахи: — что грешить? все умирать будем. Дай ему под голову армяк, — прибавил он, обращаясь к дворнику, — а то голова затечет, — и сам взял фонарь, подпоясался веревочкой и вышел опять к лошадям.

Илья, со спутанными волосами, с бледным лицом и вздернутою рубахой, оглядывал комнату, как будто старался вспомнить, где он. Дворник подбирал осколки стекла и утыкал в окно полушубок, чтобы не дуло. Староста опять сел за свою чашку.

— Эх, Илюха, Илюха! Жалко мне тебя, право. Что ж делать! Вот Хорюшник тоже женатый; не миновать, видно.

— От злодея дяди погибаю, — повторил Илья с сухою злобой. — Ему своего жалко... Матушка говорила, приказчик приказывал купить некрута. Не хочет; говорит: не одолеет. Разве мы с братом мало в дом принесли?.. Злодей он!

Дутлов вошел в избу, помолился образам, разделся и подсел к старосте. Работница подала ему еще квасу и ложку. Илья замолк и, закрыв глаза, прилег на армяк. Староста молча указал на него и покачал головой. Дутлов махнул рукой.

— Разве не жалко? Брата рѣдного сын. Мало того, что жалко, еще злодеем меня перед ним издедали. Вложила ему в голову его хозяйка, что ль, бабочка хитрая, даром что молода, что у нас деньги такие, что купить некрута осилим. Вот и укоряет меня. А как жалко малото!..

— Ох, малый хорош! — сказал староста.

— Да мочи мой с ним нет. Завтра Игната пришлю, и хозяйка его приехать хотела.

— Присылай-ка, ладно, — сказал староста, встал и полез на печку. — Что деньги? Деньги прах.

— Были бы деньги, кто бы пожалел? — проговорил купеческий работник, поднимая голову.

— Эх, деньги, деньги! Много греха от них, --- отозвался Дутлов. — Ни от чего в свете столько греха, как от денег, и в писании сказано.

— Всё сказано, --- повторил дворник. --- Так-то сказывал мне человек один: купец был, денег много накопил и ничего оставить не хотел; так свои деньги любил,

что с собою в гроб унес. Стал помирать, только велел подушечку с собой в гроб положить. Не догадались так. Потом стали искать денег сыновья: нет ничего. Догадался один сын, что, должно, в подушечке деньги были. До царя доходило, позволил откопать. Так что ж ты думаешь? Открыли, в подушке ничего нет, а полон козюлями гроб; так и зарыли опять. Вот оно, что деньги-то делают.

— Известно, греха много, — сказал Дутлов, встал и начал молиться богу.

Помолившись, он посмотрел на племянника. Тот спал. Дутлов подошел, отпустил ему кушак и лег. Другой мужик пошел спать к лошадям.

## IX

Как только всё затихло, Поликей, будто виноватый, потихоньку слез и стал убираться. Ему почему-то было жутко ночевать здесь с рекрутами. Петухи уже перекликались чаще, Барабан поел весь свой овес и тянулся к пойлу. Ильич запряг его и вывел мимо мужичьих телег. Шапка с содержимым была в целости, и колеса тележки снова застучали по подмерзнувшей Покровской дороге. Поликею легче стало только тогда, как он выехал за город. А то всё почему-то ему казалось, что вот-вот сзади послышится погоня, остановят его да на место Ильи скрутят ему назад руки и завтра повезут в ставку. Не то от холода, не то от страха мороз пробежал у него по спине, и он всё потрогивал и потрогивал Барабана. Первый встретившийся ему человек был поп в высокой зимней шапке, с кривым работником. Еще жутче стало Поликею. Но за городом страх этот понемногу прошел. Барабан пошел шагом, стала виднее впереди дорога; Ильич снял шапку и ощупал деньги. «Положить их за пазуху? — думал он: — еще распоясываться надо. Вот дай под изволок заеду, там сойду с телеги, уберусь. Шапка крепко зашита сверху, а вниз из подкладки не выскочит. И съмать шапки до дома не стану». Съехав под изволок, Барабан по собственной охоте на вынос выскакал в гору, и Поликей, которому также, как и Барабану, хотелось скорее домой, не препятствовал ему в том. Всё было в порядке; по крайней мере, ему так казалось, и он предался мечтаниям и благодарности госпожи, о пяти целковых, которые она ему даст, и о радо-

сти своих домашних. Он снял шапку, ощупал еще раз письмо, нахлобучил себе шапку глубже на голову и улынулся. Плис на шапке был гнилой, и именно потому, что накануне Акулина старательно зашила его в прорванном месте, он разлезся с другого конца, и именно то движение, которым Поликей, сняв шапку, думал в темноте засовать глубже под хлопки письмо с деньгами, это самое движение распорол шапку и высунуло конверт одним углом из-под плису.

Стало светать, и Поликей, не спавший всю ночь, задремал. Надвинув шапку и тем еще больше высунув письмо, Поликей в дремоте стал стучаться головой о грядку. Он проснулся около дома. Первым движением его было схватиться за шапку: она сидела плотно на голове; он и не снял ее, уверенный, что конверт тут. Он тронул Барабана, поправил сено, опять принял вид дворника и, важно поглядывая вокруг себя, затрясся к дому.

Вот кухня, вот «флигерь», вон столярова жена несет холсты, вон контора, вон барынин дом, в котором сейчас Поликей покажет, что он человек верный и честный, что «наговорить, мол, можно на всякого», и барыня скажет: «Ну, благодарствуй, Поликей, вот тебе три...», а может, и пять, а может, и десять целковых, и велит еще чаю поднести ему, а може, и водочки. С холоду бы не мешало. На десять целковых и погуляем на празднике, и сапоги купим, и Никитке, так и быть, отдадим четыре с полтиной, а то приставать очень начал... Не доезжая шагов ста до дома, Поликей запахнул еще, оправил пояс, ожерелку, снял шапку, поправил волосы и, не торопясь, сунул руку под подкладку. Рука зашевелилась в шапке, быстрее, еще быстрее, другая всунулась туда же; лицо бледнело, бледнело, одна рука проскочила насквозь... Поликей вскочил на колени, остановил лошадь и начал оглядывать телегу, сено, покупки, щупать пазуху, шаровары: денег нигде не было.

— Батюшки! Да что же это?! Что всё это будет! — заревел он, схватив себя за волосы.

Но тут же вспомнив, что его могут увидеть, повернул Барабана назад, надвинул шапку и погнал удивленного и недовольного Барабана назад по дороге.

«Терпеть не могу ездить с Поликеем, — должен был думать Барабан. — Один раз в жизни он накормил и напоил меня вовремя и лишь для того, чтобы так неприят-

но обмануть меня. Как я старался бежать домой! Устал, а тут, только что запахло нашим сеном, он гонит меня назад».

— Ну, ты, одёр чертовский! — сквозь слезы кричал Поликей, встав в телеге, дергая по Барабанову рту вожжами и стегая кнутом.

## Х

Целый день этот никто в Покровском не видал Поликея. Барыня спрашивала несколько раз после обеда, и Аксютка прилетала к Акулине; но Акулина говорила, что он не приезжал, что видно, купец задержал или что с лошадей что-нибудь случилось. «Не захромала ли? — говорила она: — прошлый раз так-то целые сутки ехал Максим, всю дорогу пешком шел!» И Аксютка налаживала свои маятники опять к дому, а Акулина придумывала причины задержки мужа и старалась успокоить себя, — но не успевала! У ней тяжело было на сердце, и никакая работа к завтрашнему празднику не спорилась у ней в руках. Тем более она мучилась, что столярова жена уверяла, как она сама видела: «Человек, точно как Ильич, подъехал к прешпекту и потом назад поворотил». Дети тоже с беспокойством и нетерпением ждали тятеньку, но по другим причинам. Анютка и Машка остались без шубы и армяка, дававших им возможность, хоть поочередно, выходить на улицу, и потому принуждены были только около дома в одних платьях делать круги с усиленною быстротою, чем немало стесняли всех жителей *флигера*, входивших и выходивших. Один раз Машка налетела на ноги столяровой жены, несшей воду, и, хотя вперед заревела, стукнувшись о ее колени, получила, однако, потасовку за вихры и еще сильнее заплакала. Когда же она не сталкивалась ни с кем, то прямо влетала в дверь и по кадушке влезала на печку. Только барыня и Акулина истинно беспокоились собственно о Поликее; дети же только о том, что было на нем надето. А Егор Михайлович, докладывая барыне, на вопрос ее: «Не приезжал ли Поликей, и где он может быть?» — улыбнулся, отвечая: «Не могу знать», и, видимо, был доволен тем, что предположения его оправдывались. «Надо бы к обеду приехать», — сказал он значительно. Весь этот день в Покровском никто ничего не знал про Поли-

кея; только уже потом узналось, что видели его мужики соседние, без шапки бегавшего по дороге и у всех спрашивавшего: «Не находили ли письма?» Другой человек видел его спящим на краю дороги подле прикрученной лошади с телегой. «Еще я подумал,— говорил этот человек, — что пьяный и лошадь дня два не поена, не кормлена: так ей бока подвело». Акулина не спала всю ночь, всё прислушивалась, но и в ночь Поликей не приезжал. Если бы она была одна и были бы у ней повар и девушка, она была бы еще несчастнее; но как только пропели третьи петухи и столярова жена поднялась, Акулина должна была встать и приняться за печку. Был праздник: до света надо было хлеба вынуть, квас сделать, лепешки испечь, корову подоить, платья и рубахи выгладить, детей перемыть, воды принести и соседке не дать всю печку занять. Акулина, не переставая прислушиваться, принялась за эти дела. Уж рассвело, уж заблаговестили, уж дети встали, а Поликея всё не было. Накануне был зазимок, снег неровно покрыл поля, дорогу и крыши; и нынче, как бы для праздника, день был красный, солнечный и морозный, так что издали было и слышно и видно. Но Акулина, стоя у печи и с головой всовываясь в устье, так занялась печением лепешек, что не слыхала, как подъехал Поликей, и только по крику детей узнала, что муж приехал. Анютка, как старшая, насалила голову и сама оделась. Она была в новом, розовом, ситцевом, не мытом платье, подарке барыни, которое, как лубок, стояло на ней и кололо глаза соседям; волосы у ней лоснились, на них она пол-огарка вымазала; башмаки были хоть не новые, но тонкие. Машка была еще в кацавейке и грязи, и Анютка не подпускала ее к себе близко, чтобы не выпачкала. Машка была на дворе, когда отец подъехал с кульком. «Тянька плыхали», — завизжала она, стремглав бросилась в дверь мимо Анютки и запачкала ее. Анютка, уже не боясь запачкаться, тотчас же прибила Машку, а Акулина не могла оторваться от своего дела. Она только крикнула на детей: «Ну вас! всех перепорю! — и оглянулась на дверь. Ильич, с кульком в руках, вошел в сени и тотчас же пробрался в свой угол. Акулине показалось, что он был бледен, и лицо у него было такое, как будто он не то плакал, не то улыбался; но ей некогда было разобрать.

— Что, Ильич, благополучно? — спросила она.

Ильич что-то пробормотал, чего она не поняла.

— Ась? — крикнула она. — Был у барыни?

Ильич в своем углу сидел на кровати, дико смотрел кругом себя и улыбался своею виноватою и глубоко несчастною улыбкой. Он долго ничего не отвечал.

А, Ильич? Что долго? — раздался голос Акулины.

— Я, Акулина, деньги отдал барыне, как благодарил! — сказал он вдруг и еще беспокойнее стал оглядываться и улыбаться. Два предмета особенно останавливали его беспокойные, лихорадочно-открытые глаза: веревки, привязанные к люльке, и ребенок. Он подошел к люльке и своими тонкими пальцами торопливо стал распутывать узел веревки. Потом глаза его остановились на ребенке; по тут Акулина с лепешками на доске вошла в угол. Ильич быстро спрятал веревку за пазуху и сел на кровать.

— Что ты, Ильич, как будто не по себе? — сказала Акулина.

— Не спал, — отвечал он.

Вдруг за окном мелькнуло что-то, и через мгновенье, как стрела, влетела верховая девушка Аксютка.

— Барыня велела Поликею Ильичу прийти сею минутою, — сказала она. — Сею минутою велела Авдотья Миколавна... сею минутою...

Поликей посмотрел на Акулину, на девочку.

— Сейчас! Чего еще надо? — сказал он так просто, что Акулина успокоилась: может, наградить хочет. — Скажи, сейчас приду.

Он встал и вышел; Акулина же взяла корыто, поставила на лавку, налила воды из ведер, стоявших у двери, и из горячего котла в печи, засучила рукава и попробовала воду.

— Иди, Машка, вымою.

Сердитая, сюсюкающая девочка заревела.

— Иди, паршивая, чистую рубаху надену. Ну, ломайся! Иди, еще сестру мыть надо.

Поликей между тем пошел не за верховою девушкой к барыне, а совсем в другое место. В сенях подле стены была прямая лестница, ведущая на чердак. Поликей, выйдя в сени, оглянулся и, не видя никого, нагнувшись, почти бегом, ловко и скоро взбежал по этой лестнице.

— Что-то такое значит, что Поликей не приходит, — сказала нетерпеливо барыня, обращаясь к Дуняше, которая чесала ей голову. — Где Поликей?

Аксютка опять полетела на дворню и опять влетела в сенцы и потребовала Ильича к барыне.

— Да он пошел давно, — отвечала Акулина, которая, вымыв Машку, в это время только что посадила в корыто своего грудного мальчика и мочила ему, несмотря на его крик, его редкие волосики. Мальчик кричал, морщился и старался поймать что-то своими беспомощными ручонками. Акулина поддерживала одною большою рукой его пухленькую, всю в ямочках, мягкую спинку, а другою мыла его.

— Посмотри, не заснул ли он где, — сказала она, с беспокойством оглядываясь.

Столярова жена в это время, нечесаная, с распахнутою грудью, поддерживая юбки, входила на чердак достать свое сохнувшее там платье. Вдруг крик ужаса раздался на чердаке, и столярова жена, как сумасшедшая, с закрытыми глазами, на четвереньках, задом и скорее кóгом, чем бегом, слетела с лестницы.

— Ильич! — крикнула она.

Акулина выпустила из рук ребенка.

— Удавился! — проревела столярова жена.

Акулина, не замечая того, что ребенок, как клубочек, перекатился навзничь и, задрав ножонки, головой окунулся в воду, выбежала в сени.

— На балке... висит, — проговорила столярова жена, но остановилась, увидав Акулину.

Акулина бросилась на лестницу и, прежде чем успели ее удержать, взбежала и с страшным криком, как мертвое тело, упала на лестницу и убилась бы, если бы выбежавший изо всех углов народ не успел поддержать ее.

## XI

Несколько минут ничего нельзя было разобрать в общей суматохе. Народу сбежалось бездна, все кричали, все говорили, дети и старухи плакали, Акулина лежала без памяти. Наконец мужчины, столяр и прибежавший приказчик, вошли наверх, и столярова жена в двадцатый раз рассказала, как она, «ничего не думавши, пошла за пелеринкой, глянула этаким манером: вижу, чело-

век стоит; посмотрела: шапка подле вывернута лежит. Глядь, а ноги качаются. Так меня холодом и обдало. Легко ли, повесился человек, и я это видеть должна. Как загремлю вниз, и сама не помню. И чудо, как меня бог спас. Истинно, господь помиловал. Легко ли! И кручь, и высота какая! Так бы до смерти и убилась».

Люди, всходившие наверх, рассказали то же. Ильич висел на балке, в одной рубахе и портках, на той самой веревке, которую он снял с люльки. Шапка его, вывернутая, лежала тут же. Армяк и шуба были сняты и порядком сложены подле. Ноги доставали до земли, но признаков жизни уже не было. Акулина пришла в себя и рванулась опять на лестницу; но ее не пустили.

— Мамуска, Семка захлебнулся, — вдруг запищала сюсюкающая девочка из угла.

Акулина вырвалась опять и побежала в угол. Ребенок, не шевелясь, лежал навзничь в корыте, и ножки его не шевелились. Акулина выхватила его, но ребенок не дышал и не двигался. Акулина бросила его на кровать, подперлась руками и захохотала таким громким, звонким и страшным смехом, что Машка, сначала тоже засмеявшаяся, зажала уши и с плачем выбежала в сени. Народ валил в *угол* с воем и плачем. Ребенка вынесли, стали оттирать, но всё было напрасно. Акулина валялась по постели и хохотала, хохотала так, что страшно становилось всем, кто только слышал этот хохот. Только теперь, увидав эту разнородную толпу женатых, стариков, детей, столпившихся в сенях, можно было понять, какая бездна и какой народ жил в дворовом *флигере*. Все суетились, все говорили, многие плакали, и никто ничего не делал. Столярова жена всё еще находила людей, не слышавших ее истории, и вновь рассказывала о том, как ее нежные чувства были поражены неожиданным видом и как бог спас ее от падения с лестницы. Старичок-буфетчик в женской кацавейке рассказывал, как при покойном барине женщина в пруду утопилась. Приказчик отправил к становому и к священнику послов и назначил караул. Верховая девушка Аксютка с выкаченными глазами всё смотрела в дыру на чердак и, хотя ничего там не видала, не могла оторваться и пойти к барыне. Агафья Михайловна, бывшая горничная старой барыни, требовала чаю для успокоения своих нервов и плакала. Бабушка Анна своими практичными, пухлыми и пропи-



танными деревянным маслом руками укладывала маленького покойника на столик. Женщины стояли около Акулины и молча смотрели на нее. Дети, прижавшись в углах, взглядывали на мать и принимались реветь, потом замолкали, опять взглядывали и еще пуще жались. Мальчишки и мужики толпились у крыльца и с испуганными лицами смотрели в двери и в окна, ничего не видя и не понимая и спрашивая друг у друга, в чем дело. Один говорил, что столяр своей жене топором ногу отрубил. Другой говорил, что прачка родила тройню. Третий говорил, что поварова кошка взбесилась и перекусила народ. Но истина понемногу распространялась и наконец достигла ушей барыни. И, кажется, даже не сумели приготовить ее: грубый Егор прямо доложил ей и так расстроил нервы барыни, что она долго после не могла оправиться. Толпа уже начинала успокаиваться; столярова жена поставила самовар и заварила чай, причем посторонние, не получая приглашения, нашли неприличным оставаться долее. Мальчишки начинали драться у крыльца. Все уж знали, в чем дело, и, крестясь, начинали расходиться, как вдруг послышалось: «барыня, барыня!» — и все опять столпились и сжались, чтобы дать ей дорогу, но все тоже хотели видеть, что она будет делать. Барыня, бледная, заплаканная, вошла в сени через порог, в Акулинин угол. Десятки голов жались и смотрели у дверей. Одну беременную женщину придавили так, что она запищала, но тотчас же, воспользовавшись этим самым обстоятельством, эта женщина выгадала себе впереди место. И как было не посмотреть на барыню в Акулинином углу! Это было для дворовых всё равно что бенгальский огонь в конце представления. Уж значит хорошо, коли бенгальский огонь зажгли, и уж значит хорошо, коли барыня в шелку да в кружевах вошла к Акулине в угол. Барыня подошла к Акулине и взяла за руку; но Акулина вырвала ее. Старые дворовые неодобрительно покачали головами.

— Акулина! — сказала барыня. — У тебя дети, пожалей себя.

Акулина захохотала и поднялась.

— У меня дети всё серебряные, всё серебряные... Я бумажек не держу, — забормотала она скороговоркой. — Я Ильичу говорила, не бери бумажек, вот тебя и подмазали, подмазали дегтем. Дегтем с мылом, сударыня.

Какие бы парши ни были, сейчас соскочут. — И опять захохотала, еще пуще.

Барыня обернулась и потребовала фершела с горчицей. «Воды холодной дайте», — и она стала сама искать воды; но, увидав мертвого ребенка, перед которым стояла бабушка Анна, барыня отвернулась, и все видели, как она закрылась платком и заплакала. Бабушка же Анна (жалко, что барыня не видала: она бы оценила это; для нее и было всё сделано) прикрыла ребенка кусочком холста, поправила ему ручку своею пухлой, ловкою рукой и так потрясла головой, так вытянула губы и чувствительно прищурила глаза, так вздохнула, что всякий мог видеть ее прекрасное сердце. Но барыня не видала этого, да и ничего не могла видеть. Она зарыдала, с ней сделалась нервная истерика, и ее вывели под руки в сени и под руки отвели домой. «Только-то от нее и было», — подумали многие и стали расходиться. Акулина всё хохотала и говорила вздор. Ее вывели в другую комнату, пустили ей кровь, обложили горчишниками, льду приложили к голове; но она всё так же ничего не понимала, не плакала, а хохотала и говорила, и делала такие вещи, что добрые люди, которые за ней ухаживали, не могли удерживаться и тоже смеялись.

## XII

Праздник был невеселый во дворе Покровского. Несмотря на то, что день был прекрасный, народ не выходил гулять; девки не собирались песни петь, ребята фабричные, пришедшие из города, не играли ни в гармонию, ни в балалайки и с девушками не играли. Все сидели по углам и ежели говорили, то говорили тихо, как будто кто недобрый был тут и мог слышать их. Днем всё еще было ничего. Но вечером, как смерклось, завыли собаки, и тут же на беду поднялся ветер и завыл в трубы, и такой страх нашел на всех жителей дворни, что у кого были свечи, те зажгли их перед образом; кто был один в *угле*, пошел к соседям проситься ночевать, где полонее, а кому нужно было выйти в закуты, не пошел и не пожалел оставить скотину без корму на эту ночь. И святую воду, которая у каждого хранилась в пузырьке, всю в эту ночь истратили. Многие даже слышали, как в эту ночь кто-то всё ходил по чердаку тяжелым шагом, и кузнец

видел, как змей летел прямо на чердак. В Поликеевом *угле* никого не было; дети и сумасшедшая переведены были в другие места. Там только покойничек-младенец лежал да были две старушки и странница, которая по своему усердию читала псалтырь не над младенцем, а так, по случаю всего этого несчастья. Так пожелала ба-рыня. Старушки эти и странница сами слышали, как только-только прочтется кафизма, так задрожит наверху балка и застонет кто-то. Прочтут: «да воскреснет бог»,— опять затихнет. Столярова жена позвала куму и в эту ночь, не спамши, выпила с ней весь чай, который запас-ла себе на неделю. Они тоже слышали, как наверху балки трещали и точно мешки падали сверху. Мужики-караульщики придавали храбрости дворовым, а то бы они перемерли в эту ночь со страху. Мужики лежали в сенях, на сене, и потом уверяли, что слышали тоже чу-деса на чердаке, хотя в самую эту ночь преспокойно бе-седовали между собой о некрутстве, жевали хлеб, чеса-лись и, главное, так наполнили сени особым мужичьим запахом, что столярова жена, проходя мимо их, сплуну-ла и обругала их мужичьем. Как бы то ни было, удав-ленник всё висел на чердаке, и как будто сам злой дух осенил в эту ночь *флигерь* огромным крылом, показав свою власть и ближе чем когда-либо став к этим людям. По крайней мере, все они чувствовали это. Не знаю, справедливо ли это было. Я даже думаю, что вовсе не-справедливо. Я думаю, что если бы смельчак в эту страшную ночь взял свечу или фонарь и, осенив или даже не осенив себя крестным знаменем, вошел на чер-дак, медленно раздвигая перед собой огнем свечи ужас ночи и освещая балки, песок, боров, покрытый паутиной, и забытые столяровой женою пелеринки, — добрался до Ильича, и ежели бы, не поддавшись чувству страха, под-нял фонарь на высоту лица, то он увидел бы знакомое худощавое тело с ногами, стоящими на земле (веревка опустилась), безжизненно согнувшееся набок, с рассте-нутым воротом рубахи, под которою не видно креста, и опущенную на грудь голову, и доброе лицо с открытыми, невидящими глазами, и кроткую, виноватую улыбку, и строгое спокойствие, и тишину на всем. Право, столя-рова жена, прижавшись в углу своей кровати, с растре-панными волосами и испуганными глазами, рассказы-вающая, что она слышит, как падают мешки, гораздо

ужаснее и страшнее Ильича, хотя крест его снят и лежит на балке.

В *верху*, то есть у барыни, такой же ужас царствовал, как и во *флигере*. В барыниной комнате пахло одеколоном и лекарством. Дуняша грела желтый воск и делала спуск. Для чего именно спуск, я не знаю; но знаю, что спуск делался всегда, когда барыня была больна. А она теперь расстроилась до нездоровья. К Дуняше для храбрости пришла ночевать ее тетка. Они все четверо сидели в девичьей с девочкой и тихо разговаривали.

— Кто же за маслом пойдет? — сказала Дуняша.

— Ни за что, Авдотья Миколавна, не пойду, — решительно отвечала вторая девушка.

— Полно; с Аксюткой вместе поди.

— Я одна сбегая, я ничего не боюсь, — сказала Аксютка, но тут же заробела.

— Ну поди, умница, спроси у бабушки Анны, в стакане, и принеси, не расплескай, — сказала ей Дуняша.

Аксютка подобрала одною рукой подол и, хотя вследствие этого уже не могла махать обеими руками, замахала одною вдвое сильнее, поперек линий своего направления, и полетела. Ей было страшно, и она чувствовала, что ежели бы она увидала или услышала что бы то ни было, хоть свою мать живую, она бы пропала со страху. Она летела, зажмурившись, по знакомой тропинке.

### XIII

«Барыня спит али нет?» — спросил вдруг подле Аксютки густой мужицкий голос. Она открыла глаза, которые прежде были зажмурены, и увидала чью-то фигуру, которая, показалось ей, была выше *флигера*; она взвизгнула и понеслась назад, так что ее юбка не успевала лететь за ней. Одним скачком она была на крыльце, другим в девичьей и с диким воплем бросилась на постель. Дуняша, тетка ее и другая девушка обмерли со страху; но не успели они очнуться, как тяжелые, медленные и нерешительные шаги послышались в сенях и у двери. Дуняша бросилась к барыне, уронив спуск; вторая горничная спряталась за юбки, висевшие на стене; тетка, более решительная, хотела было придержать дверь, но дверь отворилась, и мужик вошел в комнату.

Это был Дутлов в своих лодках. Не обращая внимания на страх девушек, он искал глазами иконы и, не найдя маленького образка, висевшего в левом углу, перекрестился на шкафчик с чашками, положил шапку на окно и, засунув глубоко руку за полушубок, точно он хотел почесаться под мышкой, достал письмо с пятью бурыми печатями, изображавшими якори. Дуняшина тетка схватилась за грудь... Насилу она выговорила:

— Перепугал же ты меня, Наумыч! Выговорить не могу сло...ва. Так и думала, что конец пришел.

— Можно ли так? — проговорила вторая девушка, высываясь из-за юбок.

— И барыню даже встревожили, — сказала Дуняша, выходя из двери, — что лезешь на девичье крыльцо не спросимши? Настоящий мужик!

Дутлов, не извиняясь, повторил, что барыню нужно видеть.

— Она нездорова, — сказала Дуняша.

В это время Аксютка фыркнула таким неприлично громким смехом, что опять должна была спрятать голову в подушки постели, из которых она целый час, не смотря на угрозы Дуняши и ее тетки, не могла вынуть ее без того, чтобы не прыснуть, как будто разрывалось что в ее розовой груди и красных щеках. Ей так смешно казалось, что все перепугались, — и она опять прятала голову и будто в конвульсиях елозила башмаком и подпрыгивала всем телом.

Дутлов остановился, посмотрел на нее внимательно, как будто желая дать себе отчет в том, что такое с ней происходит, но, не разобрав, в чем дело, отвернулся и продолжал свою речь.

— Значит, как есть, очень важное дело, — сказал он, — только скажите, что мужик письмо с деньгами нашел.

— Какие деньги?

Дуняша, прежде чем доложить, прочла адрес и спросила Дутлова, где и как он нашел эти деньги, которые Ильич должен был привезть из города. Разузнав всё подробно и вытолкнув в сени бегунью, которая не переставала фыркать, Дуняша пошла к барыне, но, к удивлению Дутлова, барыня все-таки не приняла его и ничего толком не сказала Дуняше.

— Ничего не знаю и не хочу знать, — сказала барыня: — какой мужик и какие деньги. Никого я не могу и не хочу видеть. Пускай он оставит меня в покое.

— Что же я буду делать? — сказал Дутлов, поворачивая конверт: — деньги не маленькие. Написано-то что на них? — спросил он Дуняшу, которая снова прочла ему адрес.

Дутлову как будто всё что-то не верилось. Он надеялся, что, может быть, деньги не барынины и что не так прочли ему адрес. Но Дуняша подтвердила ему еще. Он вздохнул, положил за пазуху конверт и готовился выйти.

— Видно, становому отдать, — сказал он.

— Постой, я еще попытаюсь, скажу, — остановила его Дуняша, внимательно проследив за исчезновением конверта в пазухе мужика. — Дай сюда письмо.

Дутлов опять достал, однако не тотчас передал его в протянутую руку Дуняши.

— Скажите, что нашел на дороге Дутлов Семен.

— Да дай сюда.

— Я было думал, так, письмо; да солдат прочел, что с деньгами.

— Да давай же.

— Я и не посмел домой заходить для того... — опять говорил Дутлов, не расставаясь с драгоценным конвертом: — так и доложите.

Дуняша взяла конверт и еще раз пошла к барыне.

— Ах, боже мой, Дуняша! — сказала барыня укорительным голосом: — не говори мне про эти деньги. Как я вспомню только этого малюточку...

— Мужик, сударыня, не знает, кому прикажете отдать, — опять сказала Дуняша.

Барыня распечатала конверт, вздрогнула, как только увидела деньги, задумалась.

— Страшные деньги, сколько зла они делают! — сказала она.

— Это Дутлов, сударыня. Прикажете ему идти или изволите выйти к нему? Целы ли еще деньги-то? — спросила Дуняша.

— Не хочу я этих денег. Это ужасные деньги. Что они наделали! Скажи ему, чтоб он взял их себе, коли хочет, — сказала вдруг барыня, отыскивая руку Дуняши. — Да, да, да, — повторила барыня удивленной Ду-

няше, — пускай совсем возьмет себе и делает, что хочет.

— Полторы тысячи рублей, — заметила Дуняша, слегка улыбаясь, как с ребенком.

— Пускай возьмет всё, — нетерпеливо повторила барыня. — Что, ты меня не понимаешь? Эти деньги несчастные, никогда не говори мне про них. Пускай возьмет себе этот мужик, что нашел. Иди, ну иди же!

Дуняша вышла в девичью.

— Все ли? — спросил Дутлов.

— Да уж ты сам сосчитай, — сказала Дуняша, подавая ему конверт, — тебе велено отдать.

Дутлов положил шапку под мышку и, пригнувшись, стал считать.

— Счетов нету?

Дутлов понял, что барыня по глупости не умеет считать и велела ему это сделать.

— Дома сосчитаешь! Тебе! Твои деньги! — сказала Дуняша сердито. — Не хочу, говорит, их видеть, отдай тому, кто принес.

Дутлов, не разгибаясь, уставился глазами на Дуняшу.

Тетка Дуняшина так и всплеснула руками.

— Матушки родимые! Вот дал бог счастья! Матушки родные!

Вторая горничная не поверила.

— Что вы, Авдотья Николаевна, шутите?

— Вот те шутите! Велела отдать мужику... Ну, бери деньги, да и ступай, — сказала Дуняша, не скрывая досады. — Кому горе, а кому счастье.

— Шутка ли, полторы тысячи рублёв, — сказала тетка.

— Больше, — подтвердила Дуняша. — Ну, свечку поставишь десятикопеечную Миколу, — говорила Дуняша насмешливо. — Чтб, не опомнишься? И добро бы бедному! А то у него и своих много.

Дутлов наконец понял, что это была не шутка, и стал собирать и укладывать в конверт деньги, которые он разложил было считать; но руки его дрожали, и он всё взглядывал на девушек, чтоб убедиться, что это не смех.

— Вишь, не опомнится — рад, — сказала Дуняша, показывая, что она все-таки презирает и мужика и деньги. — Дай я тебе уложу.

И она хотела взять. Но Дутлов не дал; он скомкал деньги, засунул их еще глубже и взялся за шапку,

— Рад?

— И не знаю, что сказать! Вот точно...

Он не договорил, только махнул рукой, ухмыльнулся, чуть не заплакал и вышел.

Колокольчик зазвонил в комнате барыни.

— Что, отдала?

— Отдала.

— Что же, очень рад?

— Совсем как сумасшедший стал.

— Ах, позови его. Я спрошу у него, как он нашел. Позови сюда, я не могу выйти.

Дуняша побежала и застала мужика в сенях. Он, не надевая шапки, вытянул кошель и, перегнувшись, развязывал его, а деньги держал в зубах. Ему, может быть, казалось, что, пока деньги не в кошелье, они не его. Когда Дуняша позвала его, он испугался.

— Что, Авдотья... Авдотья Миколавна. Али назад отобрать хочет? Хоть бы вы заступились, ей-богу, а я медку вам принесу.

— То-то! Приносил.

Опять отворилась дверь, и повели мужика к барыне. Не весело ему было. «Ох, потянет назад!» — думал он, почему-то как по высокой траве подымая всю ногу и стараясь не стучать лаптями, когда проходил по комнатам. Он ничего не понимал и не видел, что было вокруг него. Он проходил мимо зеркала, видел цветы какие-то, мужик какой-то в лаптях ноги задирает, барин с глазочком написан, какая-то кадушка зеленая и что-то белое... Глядь, заговорило это что-то белое: это барыня. Ничего он не разобрал, только глаза выкачивал. Он не знал, где он, и всё представлялось ему в тумане.

— Это ты, Дутлов?

— Я-с, сударыня. Как было, так и не трогал, — сказал он. — Я не рад, как перед богом! Как лошадь замутил...

— Ну, твое счастье, — сказала она с презрительно-доброю улыбкой. — Возьми, возьми себе.

Он только тарашил глаза.



— Я рада, что тебе досталось. Дай бог, чтобы впрок пошли! Что же, ты рад?

— Как не рад! Уж так-то рад, матушка! Всё за вас богу молить буду. Я уж так рад, что слава богу, что барыня наша жива. Только и вины моей было.

— Как же ты нашел?

— Значит, мы для барыни всегда могли стараться по чести, а не то что...

— Уж он совсем запутался, сударыня,— сказала Дуняша.

— Возил рекрута-племянника, назад ехал, на дороге и нашел. Поликей, должно, нечаянно выронил.

— Ну, ступай, ступай, голубчик. Я рада.

— Так рад, матушка!.. — говорил мужик.

Потом он вспомнил, что он не поблагодарил и не умел обойтись как следовало. Барыня и Дуняша улыбались, а он опять зашагал, как по траве, и насилу удерживался, чтобы не побежать рысью. А то всё казалось ему, вот-вот еще остановят и отнимут...

#### XIV

Выбравшись на свежий воздух, Дутлов отошел с дороги к липкам, даже распоясался, чтобы ловчее достать кошель, и стал укладывать деньги. Губы его шевелились, вытягиваясь и растягиваясь, хотя он и не произносил ни одного звука. Уложив деньги и подпоясавшись, он перекрестился и пошел, как пьяный колеся по дорожке: так он был занят мыслями, хлынувшими ему в голову. Вдруг увидел он перед собой фигуру мужика, шедшего ему навстречу. Он кликнул: это был Ефим, который, с дубиной, караульщиком ходил около флигеля.

— А, дядя Семен, — радостно проговорил Ефимка, подходя ближе. (Ефимке жутко было одному.) — Что, свезли рекрутов, дядюшка?

— Свезли. Ты что?

— Да тут Ильича удушенного караулить поставили.

— А он где?

— Вон, на чердаке, говорят, висит, — отвечал Ефимка, дубиной показывая в темноте на крышу флигеля.

Дутлов посмотрел по направлению руки и, хотя ничего не увидал, поморщился, прищурился и покачал головой.

— Становой приехал, — сказал Ефимка, — сказывал кучер. Сейчас снимать будут. То-то страсть ночью, дя-дюшка. Ни за что не пойду ночью, коли велют идти на-верх. Хоть до смерти убей меня Егор Михалыч, не пойду.

— Грех-то, грех-то какой! — повторил Дутлов, види-мо, для приличия, но вовсе не думая о том, что говорил, и хотел идти своею дорогой. Но голос Егора Михайло-вича остановил его.

— Эй, караульщик, поди сюда, — кричал Егор Ми-хайлович с крыльца.

Ефимка откликнулся.

— Да кто еще там с тобой мужик стоял?

— Дутлов.

— И ты, Семен, иди.

Приблизившись, Дутлов рассмотрел при свете фона-ря, который нес кучер, Егора Михайловича и низенького чиновника в фуражке с кокардой и в шинели: это был становой.

— Вот и старик с нами пойдет, — сказал Егор Ми-хайлович, увидав его.

Старика покорило; но делать было нечего.

— А ты, Ефимка, малый молодой, беги-ка на чердак, где повесился, лестницу поправить, чтоб их благородию пройти.

Ефимка, ни за что не хотевший подойти к флигелю, побежал к нему, стуча лаптями, как бревнами.

Становой высек огня и закурил трубку. Он жил в двух верстах и был только что жестоко распечен исправ-ником за пьянство и потому теперь был в припадке усер-дия: приехав в десять часов вечера, он хотел немедлен-но осмотреть удушенника. Егор Михайлович спросил Дутлова, зачем он здесь. Дорогой Дутлов рассказал приказчику о найденных деньгах и о том, что барыня сделала. Дутлов сказал, что он пришел позволения Его-ра Михалыча спросить. Приказчик, к ужасу Дутлова, потребовал конверт и посмотрел его. Становой тоже взял конверт в руки и коротко и сухо спросил о подроб-ностях.

«Ну, пропали деньги», — подумал Дутлов и стал уже извиняться. Но становой отдал ему деньги.

— Вот счастье сиволапому! — сказал он.

— Ему на руку, — сказал Егор Михайлович: — он только племянника в ставку свез; теперь выкупит.

— А! — сказал становой и пошел вперед.

— Выкупишь, что ль, Илюшку-то? — сказал Егор Михайлович.

— Как его выкупить-то? Денег хватит ли? А можь, и не время.

— Как знаешь, — сказал приказчик, и оба пошли за становым.

Они подошли к флигелю, в сенях которого вонючие караульщики ждали с фонарем. Дутлов шел за ними. Караульщики имели виноватый вид, который мог относиться разве только к произведенному ими запаху, потому что они ничего дурного не сделали. Все молчали.

— Где? — спросил становой.

— Здесь, — шепотом сказал Егор Михайлович. — Ефимка, — прибавил он, — ты малый молодой, пошел вперед с фонарем!

Ефимка, уж поправив наверху половицу, казалось, потерял весь страх. Шагая через две и три ступени, он с веселым лицом полез вперед, только оглядываясь и освещая фонарем дорогу становому. За становым шел Егор Михайлович. Когда они скрылись, Дутлов, поставив уже одну ногу на ступеньку, вздохнул и остановился. Прошли минуты две, шаги их затихли на чердаке; видно, они подошли к телу.

— Дядя! тебя зовет! — крикнул Ефимка в дыру.

Дутлов полез. Становой и Егор Михайлович видны были при свете фонаря только верхнею своею частию за балкой; за ними стоял еще кто-то спиной. Это был Поликей. Дутлов перелез через балку и, крестясь, остановился.

— Поверни-ка его, ребята, — сказал становой.

Никто не тронулся.

— Ефимка, ты малый молодой, — сказал Егор Михайлович.

Малый молодой перешагнул через балку и, перевернув Ильича, стал подле, самым веселым взглядом поглядывая то на Ильича, то на начальство, как показывающий альбиноску или Юлию Пастрану глядит то на публику, то на свою показываемую штуку, и готовый исполнить все желания зрителей.

— Еще поверни.

Ильич еще повернулся, замахал слегка руками и поволоком ногой по песку.

— Берись, снимай.

— Отрубить прикажете, Василий Борисович? — сказал Егор Михайлович. — Топор подайте, братцы.

Караульщикам и Дутлову надо было приказать раза два, чтоб они приступили. Малый же молодой обращался с Ильичом, как с бараньей тушей. Наконец отрубили веревку, сняли тело и покрыли. Становой сказал, что завтра приедет лекарь, и отпустил народ.

## XV

Дутлов, шевеля губами, пошел к дому. Сначала было ему жутко, но по мере того как он приближался к деревне, чувство это проходило, а чувство радости больше и больше проникало ему в душу. На деревне слышались песни и пьяные голоса. Дутлов никогда не пил и теперь пошел прямо домой. Уж было поздно, как он вошел в избу. Старуха его спала. Старший сын и внуки спали на печке, второй сын в чулане. Одна Илюшкина баба не спала и в грязной, не праздничной рубаше, простоволосая, сидела на лавке и выла. Она не вышла отворить дяде, а только пуще стала выть и приговаривать, как только он вошел в избу. По мнению старухи, она причитала очень складно и хорошо, несмотря на то, что, по молодости своей, не могла еще иметь практики.

Старуха встала и собрала ужинать мужу. Дутлов прогнал Илюшкину бабу от стола. «Буде, буде!» — сказал он. Аксинья встала и, прилегши на лавку, не переставала выть. Старуха молча набрала на стол и потом убрала. Старик тоже не сказал ни одного слова. Помолвившись богу, он рыгнул, умыл руки и, захватив с гвоздя счеты, пошел в чулан. Там он сначала пошептал со старухой, потом старуха вышла, а он стал щелкать счетами: наконец стукнул крышкой сундука и полез в подполье. Долго возился он в чулане и в подполье. Когда он вошел, в избе уже было темно, лучина не горела. Старуха, днем обыкновенно тихая и неслышная, уже завалилась на полати и храпела на всю избу. Шумливая Илюшкина баба тоже спала и неслышно дышала. Она спала на лавке, не раздевшись, как была, и ничего не подостлав под голову. Дутлов стал молиться, потом посмотрел на Илюшкину бабу, покачал головой, потушил лучину, еще рыгнул, полез на печку и лег рядом с маль-

чином-впучком. В темноте он покидал сверху лапти и лег на спину, глядя на перемет над печкой, чуть видневшийся над его головой, и прислушиваясь к тараканам, шуршавшим по стене, ко вздохам, храпению, чесанью нога об ногу и к звукам скотины на дворе. Ему долго не спалось; взошел месяц, светлее стало в избе, ему видно стало в углу Аксинью и что-то, чего он разобрать не мог: армяк ли сын забыл, или кадушку бабы поставили, или стоит кто-то. Задремал он или нет, но только он стал опять вглядываться... Видно, тот мрачный дух, который навел Ильича на страшное дело и которого близость чувствовали дворовые в эту ночь, видно, этот дух достал крылом и до деревни, до избы Дутлова, где лежали те деньги, которые *он* употребил на пагубу Ильича. По крайней мере, Дутлов чувствовал *его* тут, и Дутлову было не по себе. Ни спать, ни встать. Увидев что-то, чего не мог он определить, он вспомнил Илюху с связанными руками, вспомнил лицо Аксиньи и ее складное причитанье, вспомнил Ильича с качающимися кистями рук. Вдруг старику показалось, что кто-то прошел мимо окна: «Что это, или уж староста повешать идет?» — подумал он. «Как это он отпер? — подумал старик, слыша шаги в сенях. — Или старуха не заложила, как выходила в сенцы?» Собака завyla на задворке, а *он* шел по ссням, как потом рассказывал старик, как будто искал двери, прошел мимо, стал опять ощупывать по стене, споткнулся на кадушку, и она загремела. И опять *он* стал ощупывать, точно скобку искал. Вот взялся за скобку. У старика дрожь пробежала по телу. Вот дернул за скобку и вошел в человеческом образе. Дутлов знал уже, что это был *он*. Он хотел сотворить крест, но не мог. *Он* подошел к столу, на котором лежала скатерть, сдернул ее, бросил на пол и полез на печь. Старик узнал, что *он* был в Ильичовом образе. *Он* оскалаялся, руки болтались. *Он* влез на печку, навалился прямо на старика и начал душить.

— Мои деньги, — выговорил Ильич.

— Отпусти, не буду, — хотел и не мог сказать Семен.

Ильич душил его всю тяжестью каменной горы, напирая ему на грудь. Дутлов знал, что ежели он прочтет молитву, *он* отпустит его, и знал, какую надо прочесть молитву, но молитва эта не выговаривалась. Внук спал рядом с ним. Мальчик закричал пронзительно и запла-

кал: дед придавил его к стене. Крик ребенка освободил уста старика. «Да воскреснет бог», — проговорил Дутлов. Он отпустил немного. «И расточатся врази...» — шамкал Дутлов. Он сошел с печки. Дутлов слышал, как стукнул он обеими ногами о пол. Дутлов всё читал молитвы, которые были ему известны, читал все подряд. Он пошел к двери, миновал стол и так стукнул дверь, что изба задрожала. Все спали, однако, кроме деда и внука. Дед читал молитвы и дрожал всем телом, внук плакал, засыпая, и жался к деду. Всё опять затихло. Дед лежал не двигаясь. Петух прокричал за стеной под ухом Дутлова. Он слышал, как куры зашевелились, как молодой петушок попробовал закричать вслед за старым и не сумел. Что-то зашевелилось по ногам старика. Это была кошка: она прыгнула на мягкие лапки с печки наземь и стала мяукать у двери. Дед встал, поднял окно; на улице было темно, грязно; передок стоял тут же под окном. Он босиком, крестясь, вышел на двор к лошадям: и тут было видно, что *хозяин* приходил. Кобыла, стоявшая под навесом у обреза, запуталась ногой в повод, просыпала мякину и, подняв ногу, закрутив голову, ожидала хозяина. Жеребенок завалился в навоз. Дед поднял сго на ноги, распутал кобылу, заложил корму и пошел в избу. Старуха поднялась и зажгла лучину. «Буди ребят, — сказал он, — в город поеду», — и, зажегши восковую свечку от образов, полез с ней в подполье. Уж не у одного Дутлова, а у всех соседей зажглись огни, когда он вышел оттуда. Ребята встали и уже собирались. Бабы входили и выходили с ведрами и с шайками молока. Игнат запрягал телегу. Второй сын мазал другую. Молодайка уже не выла, но, убравшись и повязавшись платком, сидела в избе на лавке, ожидая времени ехать в город проститься с мужем.

Старик казался в особенности строг. Никому он не сказал ни одного слова, надел новый кафтан, подпоясался и, со всеми Ильичовыми деньгами за пазухой, пошел к Егору Михайловичу.

— Ты у меня копайся! — крикнул он на Игната, вертевшего колеса на поднятой и смазанной оси. — Сейчас приду. Чтобы готово было!

Приказчик, только что встав, пил чай и сам собирался в город ставить рекрут.

— Что ты? — спросил он.

— Я, Егор Михалыч, малого выкупить хочу. Уж сделайте милость. Вы наемни говорили, что в городе охотника знаете. Научите. Наше дело темное.

— Что ж, передумал?

— Передумал, Егор Михалыч: жалко, братнин сын. Какой ни на есть, всё жалко. Греха от них много, от денег от этих. Уж сделай милость, научи, — говорил он, кланяясь в пояс.

Егор Михайлович, как и всегда в таких случаях, глубокомысленно и молча чмокал долго губами и, обсудив дело, написал две записки и рассказал, что и как надобно делать в городе.

Когда Дутлов вернулся домой, молодайка уже уехала с Игнатом, и чалая брюхастая кобыла, совсем запряженная, стояла под воротами. Он выломил хворостину из забора; запахнувшись, уселся в ящик и погнал лошадь. Дутлов гнал кобылу так шибко, что у ней сразу пропало всё брюхо, и Дутлов уже не глядел на нее, чтобы не разжалобиться. Его мучила мысль, что он опоздает как-нибудь к ставке, что Илюха пойдет в солдаты и чертовы деньги останутся у него на руках.

Не стану подробно описывать всех походов Дутлова в это утро; скажу только, что ему особенно посчастливилось. У хозяина, которому Егор Михайлович дал записку, был совсем готовый охотник, проживший уже двадцать три целковых и уже одобренный в палате. Хозяин хотел взять за него четыреста, а покупатель, мещанин, ходивший уже третью неделю, всё просил уступить за триста. Дутлов кончил дело с двух слов. «Триста с четвертною возьмешь», — сказал он, протягивая руку, но с таким выражением, что сейчас же было видно, что он готов еще надбавить. Хозяин оттягивал руку и продолжал просить четыреста. «Не возьмешь с четвертною?» — повторил Дутлов, схватывая левою рукой правую руку хозяина и угрожая хлопнуть по ней своею правою. «Не возьмешь? Ну, бог с тобой! — вдруг проговорил он, ударив по руке хозяина и с размаху повернувшись от него всем телом. — Видно, так и быть! Бери с полсотней. Выправляй фитанец. Веди малого-то. А теперь на задатку. Две красненьких будет, что ль?

И Дутлов распоясывался и доставал деньги.

Хозяин хотя и не отнимал руки, но всё еще как буд-

то бы не совсем соглашался и, не принимая задатку, выговаривал магарычи и угощение охотнику.

— Не грехи, — повторял Дутлов, суя ему деньги, — умирать будем, — повторял он таким кротким, поучительным и уверенным тоном, что хозяин сказал:

— Нечего делать, — еще раз ударил по руке и стал молиться богу. — Дай бог час, — сказал он.

Разбудили охотника, который спал еще со вчерашнего перепоя, для чего-то осмотрели его и пошли все в правление. Охотник был вссел, требовал опохмелиться рому, на который дал ему денег Дутлов, и заробел только в ту минуту, когда они стали входить в сени присутствия. Долго стояли тут в сенях старик-хозяин в синей сибирке и охотник в коротеньком полушубке, с поднятыми бровями и вытаращенными глазами; долго они тут перешептывались, куда-то просились, кого-то искали, зачем-то перед всяким писцом снимали шапки и кланялись и глубокомысленно выслушивали решение, вынесенное знакомым хозяину писцом. Уже всякая надежда окончить дело нынче была оставлена и охотник начинал было опять становиться всеелее и развязнее, как Дутлов увидал Егора Михайловича, тотчас же вцепился в него и начал просить и кланяться. Егор Михайлович помог так хорошо, что часу в третьем охотника, к великому его неудовольствию и удивлению, ввели в присутствие, поставили в ставку и с общею почему-то веселостью, начиная от сторожей до председателя, раздели, обрили, одели и выпустили за двери, и через пять минут Дутлов отсчитал деньги, получил квитанцию и, простившись с хозяином и охотником, пошел на квартиру к купцу, где стояли рекруты из Покровского. Илья с молодойкой сидели в углу купцовой кухни, и как только вошел старик, они перестали говорить и уставились на него с покорным и недоброжелательным выражением. Как всегда, старик помолился богу, распоясался, достал какую-то бумагу и позвал в избу старшего сына Игната и Илюшкину мать, которая была на дворе.

— Ты не грехи, Илюха, — сказал он, подходя к племяннику. — Вечор ты мне такое слово сказал... Разве я тебя не жалю? Я помню, как мне тебя брат приказывал. Кабы была моя сила, разве я тебя бы отдал? Бог дал счастья, я не пожалел. Вот она, бумага-то, — ска-



зал он, кладя квитанцию на стол и бережно расправляя ее кривыми, неразгибающимися пальцами.

В избу вошли со двора все покровские мужики, купцовы работники и даже посторонний народ. Все догадывались, в чем дело; но никто не прерывал торжественной речи старика.

— Вот она, бумажка-то! Четыреста целковых отдал. Не кори дядю.

Илюха встал, но молчал, не зная, что сказать. Губы его вздрагивали от волнения; старуха-мать подошла было к нему, всхлипывая, и хотела броситься ему на шею; но старик медленно и повелительно отвел ее рукою и продолжал говорить.

— Ты мне вчера одно слово сказал, — повторил еще раз старик, — ты меня этим словом как ножом в сердце пырнул. Твой отец мне тебя, умираючи, приказывал, ты мне заместо сына родного был, а коли я тебя чем обидел, все мы в грехе живем. Так ли, православные? — обратился он к стоявшим вокруг мужикам. — Вот и матушка твоя родная тут, и хозяйка твоя молодая, вот вам фитанец. Бог с ними, с деньгами! А меня простите, Христа ради.

И он, заворотив полу армяка, медленно опустился на колени и поклонился в ноги Илюшке и его хозяйке. Напрасно удерживали его молодые: не прежде, как дотронувшись головою до земли, он встал и, отряхнувшись, сел на лавку. Илюшкина мать и молодайка выли от радости, в толпе слышались голоса одобрения. «По правде, по-божьему, так-то», — говорил один. «Что деньги? За деньги малого не купишь», — говорил другой. «Радость-то какая, — говорил третий, — справедливый человек, одно слово». Только мужики, назначенные в рекруты, ничего не говорили и неслышно вышли на двор.

Через два часа две телеги Дутловых выезжали из предместья города. В первой, запряженной чалою кобылой, с подведенным животом и потною шеей, сидел старик и Игнат. В задке тряслись связки, котелок и калачи. Во второй телеге, которою никто не правил, степенно и счастливо сидели молодайка с свекровью, обвязанные платочками. Молодайка держала под занавеской штофчик. Илюшка, скорчившись задом к лошади, с раскрасневшимся лицом, трёсся на передке, закусывая калачом и не переставая разговаривать. И голоса, и гром телег

по мостовой, и пофыркивание лошадей — всё сливалось в один веселый звук. Лошади, помахивая хвостами, всё прибавляли рыси, чуя направление к дому. Прохожие и проезжие невольно оглядывались на веселую семью.

На самом выезде из города Дутловы стали обгонять партию рекрутов. Группа рекрутов стояла кружком около питейного дома. Один рекрут, с тем неестественным выражением, которое дает человеку бритый лоб, сдвинув на затылок серую фуражку, бойко трепал в балалайку; другой, без шапки, со штофом водки в одной руке, плясал в середине кружка. Игнат остановил лошадь и слез, чтобы закрутить тяж. Все Дутловы стали смотреть с любопытством, одобрением и веселостию на плясавшего человека. Рекрут, казалось, не видал никого, не чувствовал, что дивившаяся на него публика всё увеличивает, и это придавало ему силы и ловкости. Рекрут плясал бойко. Брови его были нахмурены, румяное лицо его было неподвижно; рот остановился на улыбке, уже давно потерявшей выражение. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы как можно быстрее становать одну ногу за другой то на каблук, то на носок. Иногда он вдруг останавливался, подмигивал балалаечнику, и тот еще бойчее начинал дребезжать всеми струнами и даже постукивать по крышке костяшками пальцев. Рекрут останавливался, но и оставаясь неподвижным, он все, казалось, плясал. Вдруг он начинал медленно двигаться, потряхивая плечами, и вдруг взвивался кверху, с разлету садился на корточки и с диким визгом пускался вприсядку. Мальчишки смеялись, женщины покачивали головою, мужчины одобрительно улыбались. Старый унтер-офицер спокойно стоял подле пляшущего с видом, говорившим: «Вам это в диковинку, а нам уже всё это коротко знакомо». Балалаечник, видимо, устал, лениво оглянулся, сделал какой-то фальшивый аккорд и вдруг стукнул пальцами о крышку, и пляска кончилась.

— Эй! Алеха! — сказал балалаечник плясавшему, указывая на Дутлова, — вон крестный-то!

— Где? Друг ты мой любезный! — закричал Алеха, тот самый рекрут, которого купил Дутлов, и, усталыми ногами падая наперед и подымая над головою штоф водки, подвинулся к телеге, — Мишка! Стакан! — закричал он. — Хозяин! Друг ты мой любезный! Вот радость-

то, право!..— вскричал он, заваливаясь пьяною головой в телегу, и начал угощать мужиков и баб водкою. Мужики выпили, бабы отказывались.— Родные вы мои, чем мне вас одарить?— восклицал Алеха, обнимая старух.

Торговка с закусками стояла в толпе. Алеха увидел ее, выхватил у ней лоток и весь высыпал в телегу.

— Небось, заплачу-у-у, черт,— завопил он плачущим голосом и тут же, вытащив из шаровар кисет с деньгами, бросил его Мишке.

Он стоял, облокотившись на телегу, и влажными глазами смотрел на сидевших в ней.

— Матушка-то которая?— спросил он.— Ты, что ль? И ей пожертвую.

Он задумался на мгновение и полез в карман, достал новый сложенный платок, полотенце, которым он был подпоясан под шинелью, торопливо снял с шеи красный платок, скомкал всё и сунул в колени старухе.

— На тебе, жертвую,— сказал он голосом, который становился всё тише и тише.

— Зачем? Спасибо, родный! Вишь, прѳстый малый какой,— говорила старуха, обращаясь к старику Дутлову, подошедшему к их телеге.

Алеха совсем замолк и, осовелый, как будто засыпая, поникал всё ниже и ниже головой.

— За вас иду, за вас погибаю! — проговорил он.— За то вас и дарую.

— Я чай, тоже матушка есть,— сказал кто-то из толпы.— Прѳстый малой какой! Беда!

Алеха поднял голову.

— Матушка есть,— сказал он.— Батюшка родимый есть. Все меня отрешились. Слушай ты, старая,— прибавил он, хватая Илюшкину старуху за руку.— Я тебя одарил. Послушай ты меня, ради Христа. Ступай ты в село Водное, спроси ты там старуху Никонову, она самая моя матушка родимая, чуешь, и скажи ты старухе этой самой, Никоновой старухе, с краю третья изба, колодезь новый... скажи ты ей, что Алеха, сын твой... значит... Музыкан! Валяй! — крикнул он.

И он опять стал плясать, приговаривая, и швырнул об землю штоф с оставшеюся водкой.

Игнат взлез на телегу и хотел тронуть.

— Прощай, дай бог тебе!..— проговорила старуха, запахивая шубу.

Алеха вдруг остановился.

— Поезжайте вы к дьяволу,— закричал он, угрожая стиснутыми кулаками.— Чтоб твоей матери...

— Ох, господи! — проговорила, крестясь, Илюшкина мать.

Игнат тронул кобылу, и телеги снова застучали. Алексей-рекрут стоял посредине дороги и, стиснув кулаки, с выражением ярости на лице, ругал мужиков что было мочи.

— Что стали? Пошел! Дьяволы, людоеды! — кричал он.— Не уйдешь моей руки! Черти! Лапотники!..

С этим словом голос его оборвался, и он, как стоял, со всех ног ударился оземь.

Скоро Дутловы выехали в поле и, оглядываясь, уже не видали толпы рекрут. Просхав верст пять шагом, Игнат слез с отцовской телеги, на которой заснул старик, и пошел рядом с Илюшкиной.

Двоем выпили они штофчик, взятый из города. Немного погодя Илья запел песни, бабы подтянули ему. Игнат весело покрикивал на лошадь в лад песни. Быстро навстречу промчалась веселая перекладная. Ямщик бойко крикнул на лошадей, поравнявшись с двумя вселыми телегами; почтальон оглянулся и подмигнул на красные лица мужиков и баб, с веселою песней трясшихся в телеге.

1861—1862

## КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

### I

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.

Пришло ему раз письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбитя тебе — может, и женишься и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придётся увидеть. Поехать; а если невеста хороша — и жениться можно».

Пошёл он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдёт от крепости — татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, и телега его с вещами шла в обозе.

Ехать было двадцать пять вёрст. Обоз шёл тихо; то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит или лошадь станет, и все стоят — дожидаются.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошёл. Пыль, жара, солнце так и печёт, и укрыться негде. Голая степь: ни деревца, ни кустика по дороге.

Высхал Жилин вперёд, остановился и ждёт, пока подойдёт к нему обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли, — опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татар — ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем, и говорит:

— Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. — А Костылин — мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льёт. Подумал Жилин и говорит:

— А ружьё заряжено?

— Заряжено.

— Ну, так поедем. Только уговор — не разъезжаться.

И поехали они вперёд по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.

Только кончилась степь, вошла дорога промеж двух гор в ущелье. Жилин и говорит:

— Надо выехать на гору поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из горы и не увидишь.

А Костылин говорит:

— Что смотреть? Поедем вперед.

Жилин не послушал его.

— Нет,— говорит,— ты подожди внизу, а я только взгляну.

И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотничья (он за нее сто рублей заплатил в табуше жеребёнком и сам выездил); как на крыльях, взнесла его на кручь. Только выскакал — глядь, а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами. Человек тридцать. Он увидел, стал назад поворачивать, и татары его увидели, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

— Вынимай ружьё! — а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнёшься — пропал. Доберусь до ружья, я и сам не дамся».

А Костылин, заместо того, чтобы подождать, только увидел татар, — закатился, что есть духу, к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит — дело плохо. Ружьё уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад, к солдатам — думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми ещё добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит — близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружьё наготове.

«Ну,— думает Жилин,— знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой...»

А Жилин хоть не велик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нём сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху,— навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нём два татарина воюющие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, — да ещё соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось

у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с сёдел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, всё обшарили, деньги, часы вынули, платье всё изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьётся ногами,— до земли не достаёт; в голове дыра, а из дыры так и свищет кровь чёрная,— на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошёл к лошади, стал седло снимать. Она всё бьётся,— он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепенулась, и пар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие посадили Жилина к нему на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы.

Сидит Жилин за татаринном, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синееется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали ложиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут,— да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться; переехали ещё речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки.

Приехали в аул. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали камнями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришёл ногаец, скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принёс работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай; толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, оцупал в темноте, где помягче, и лёг.

## II

Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит — в щёлке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щёлку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щёлки дорога — под гору идёт, направо сакля татарская, два дерева подле неё. Собака чёрная лежит на пороге, коза с козлятами ходит — хвостиками подёргивают. Видит — из-под горы идёт татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идёт, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведёт бритого, в одной рубашонке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете в шёлковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, чёрная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бородку красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошёл куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп<sup>1</sup> мокрый. Выбежали ещё мальчишки бритые в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щёлку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились бежать прочь, — только коленки голые блестят.

А Жилину пить хочется, в горле пересохло; думает: «Хоть бы пришли проведать». Слышит, — отпирают сарай. Пришёл красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза чёрные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо весёлое, всё смеётся. Одет черноватый ещё лучше: бешмет шёлковый синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие, толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошёл, проговорил что-то, точно ругается, и стал, облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк, исподлобья косится на Жилина. А черноватый — быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит, — подошёл прямо к Жилину, сел на корточки,

---

<sup>1</sup> Храп — здесь: нижняя часть морды у лошади.



оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищёлкивает, всё приговаривает:

— Корошо урус! корошо урус!

Ничего не понял Жилин и говорит:

— Пить, воды пить дайте.

Чёрный смеётся.

— Корош урус, — всё по-своему лопочет.

Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали.

Чёрный понял, засмеялся, выглянул в дверь, крикнул кого-то:

— Дина!

Прибежала девочка — тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на чёрного похожа. Видно, что дочь. Тоже — глаза чёрные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие, с высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса чёрная, и в косе лента, а на ленте привешены бляхи и рубль серебряный.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьёт, — как на зверя какого.

Подад ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. Послал её ещё куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает — смотрит.

Ушли татары, заперли опять двери.

Погодя немного приходит к Жилину ногаец и говорит:

— Айда, хозяин, айда!

Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.

Пошёл Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за погайцем. Видит — деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лоша-

ди в сѣдлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шёл Жилин. Сам смеётся, всё говорит что-то по-своему и ушёл в дверь. Пришёл Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. В передней стене пуховики пѣстрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки — всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый, как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: чёрный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные, и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское — буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил чёрный, велел посадить Жилина к сторонке, не на ковёр, а на голый пол, залез опять на ковёр, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам; смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубаше такой же, как и девка, и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули во все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски.

— Тебя, — говорит, — взял Кази-Мугамед, — сам показывает на красного татарина, — и отдал тебя Абдул-Мурату, — показывает на черноватого. — Абдул-Мурат теперь твой хозяин.

Жилин молчит. Заговорил Абдул-Мурат и всё показывает на Жилина, и смеётся, и приговаривает:

— Солдат, урус, корошо, урус.

Переводчик говорит:

— Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит.

Жилин подумал и говорит:

— А много ли он хочет выкупа?

Поговорили татары, переводчик и говорит:

— Три тысячи монет.

— Нет, — говорит Жилин, — я этого заплагить не могу.

Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину — всё думает, что он поймёт. Перевёл переводчик, говорит:

— Сколько же ты дашь?

Жилин подумал и говорит:

— Пятьсот рублей.

Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут.

А красный только жмурится да языком пощёлкивает.

Замолчали они, переводчик говорит:

— Хозяину выкупу мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх, — думает Жилин, — с ними что робеть, то хуже».

Вскочил на ноги и говорит:

— А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг.

Долго лопотали, вскочил чёрный, подошёл к Жилину.

— Урус, — говорит, — джигит, джигит урус!

Джигит по-ихнему значит «молодец». И сам смеётся; сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

— Тысячу рублей дай.

Жилин стал на своём:

— Больше пятисот рублей не дам. А уьёте, — ничего не возьмёте.

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришёл работник, и идёт за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный; на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин, — узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было; Костылин рассказал, что лошадь под

ним стала и ружьё осеклось и что этот самый Абдул нагнал его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит. Перевёл переводчик, что они теперь оба одного хозяина и кто прежде деньги даст, того прежде отпустят.

— Вот, — говорит Жилину, — ты всё серчаешь, товарищ твой смиренный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо и обижать не будут.

Жилин и говорит:

— Товарищ как хочет, он, может, богат, а я не богат. Я, — говорит, — как сказал, так и будет. Хотите убивайте, — пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «Пиши». Согласился на пятьсот рублей.

— погоди ещё, — говорит Жилин переводчику, — скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел-обул, как следует, чтоб держал вместе, — нам веселее будет, и чтобы колодку снял.

Сам смотрит на хозяина и смеётся. Смеётся и хозяин. Выслушал и говорит:

— Одежу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе — пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять — уйдут. На ночь только снимать буду. — Подскочил, треплет по плечу. — Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтобы не дошло. Сам думает: «Я уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрёпанные, солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

### III

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин всё смеётся: «Твоя, Иван, хорош — моя, Абдул, хорош». А кормил плохо, — только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепёшками печёный, а то и вовсе тесто непечёное.

Костылин ещё раз писал домой, всё ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придёт, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдёт, а другого не писал.

«Где, — думает, — матери столько денег взять, за меня заплатить. И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец, бог даст — и сам выберусь».

А сам всё высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетёт плетёнки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу.

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подаёт им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушёл в сарай и смотрит, что будет?

Подбежала Дина, оглянувшись, схватила куклу и убежала.

Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает как ребёнка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забранилась на неё, выхватила куклу, разбила её, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, ещё лучше, — отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеётся, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?» — думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там молоко. Выпил он молоко.

— Хорошо, — говорит.

Как взрадуется Дина!

— Хорошо, Иван, хорошо! — и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала.

И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепёшки сырные и сушат их на крышах, — так она эти лепёшки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана, — так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит.

Была раз гроза сильная и дождь час целый, как из ведра, лил. И помутились все речки, где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков,— одел он кукол: одна — мужик, другая — баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком щёлкают:

— Ай, урус! Ай, Иван!

Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щёлкает. Жилин говорит:

— Давай, починю.

Взял, разобрал ножичком, разложил: опять сладил, отдал. Идут часы.

Обрадовался хозяин, принёс ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял,— и то годится покрыться ночью.

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать: кто замок на ружьё или пистолет починить принесёт, кто часы. Привёз ему хозяин снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Заболел раз татарин, пришли к Жилину:

— Поди полечи.

Жилин ничего не знает, как лечить. Пошёл, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушёл в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашептал на воду, дал выпить. Выздоровел, на его счастье, татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему,— когда нужно, кличут: «Иван, Иван», а которые всё, как на зверя, косятся.

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернётся, либо обругает. Был ещё у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин, только когда он в мечеть проходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке у него белое полотенце обмотано. Бородка и усы подстрижены,— белые, как пух; а лицо сморщенное и крас-

ное, как кирпич. Нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые, и зубов нет — только два клыка. Идёт, бывало, в чалме своей, костылём подпирается, как волк озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернётся.

Пошёл раз Жилин под гору — посмотреть, где живёт старик. Сошёл по дорожке, видит — садик, ограда каменная; из-за ограды — черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошел он поближе; видит — ульи стоят плетённые из соломы, и пчёлы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше посмотреть и загремел колодкой. Старик оглянулся — как визгнет, выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.

Пришёл старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеётся и спрашивает:

— Зачем ты к старику ходил?

— Я,— говорит,— ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живёт.

Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает руками на Жилина.

Жилин не понял всего; но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушёл старик.

Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:

— Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца; нашёл там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошёл в Мекку — богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить,— я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал.— Смеётся, сам приговаривает по-русски:— Твоя, Иван, хорош — моя, Абдул, хорош!

## IV

Прожил так Жилин месяц. Днём ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придёт, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тёр, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы, — думает, — мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошёл после обеда за аул, на гору, — хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:

— Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову!

Стал его Жилин уговаривать.

— Я, — говорит, далеко не уйду — только на ту гору поднимусь: мне траву нужно найти — ваш народ лечить. Пойдём со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору — недалеко, а с колодкой трудно; шёл, шёл, насили взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни<sup>1</sup> за сарай лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора — ещё круче, а за той горой ещё гора. Промеж гор лес синееется, а там ещё горы — всё выше и выше поднимаются. А выше всех — белые, как сахар, горы стоят под снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат — всё такие же горы; кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну, — думает, — это всё ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке, как куклы маленькие, видно, — бабы сидят, полоскают. За аулом, пониже, гора, и через неё ещё две горы, по ним лес; а промеж двух гор синееется ровное место, а на ровном месте, далеко-далеко, точно дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит: там точно, в этой долине, должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

---

<sup>1</sup> Н а́ полдни — на юг, н а восхбд — на восток, н а з а к а́ т — на запад.



Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых — алые; в чёрных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться,— маячит что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое — крепость русская.

Уж поздно стало. Слышно — мулла прокричал <sup>1</sup>. Стадо гонят — коровы ревут. Малый всё зовёт: «Пойдем», а Жилину и уходить не хочется.

Вернулись они домой. «Ну,— думает Жилин,— теперь место знаю; надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были тёмные — ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они — гонят с собой скотину и приезжают весёлые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мёртвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за деревню, положили на траву. Пришёл мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мёртвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах, рядком, а сзади их ещё татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

— Алла! (значит бог).— Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся.

Опять поднял голову мулла:

— Алла! — и все проговорили: — Алла! — и опять замолчали. Мёртвый лежит на траве, не шелохнётся, и они сидят как мёртвые. Не шевельнётся ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочел мулла молитву, все встали, подняли мёртвого на руки, понесли. Принесли к яме. Яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мертвого под мышки да под лытки <sup>2</sup>, перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидья под землю, заправили ему руки на живот.

---

<sup>1</sup> Мулла прокричал. — Утром, в полдень и вечером мулла — мусульманский священник — громкими возгласами призывает к молитве всех мусульман.

<sup>2</sup> Под лытки — под колени.

Притащил ногаец камышу зелёного, заклали камышом яму, живо засыпали землёй, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилой. Долго молчали.

— Алла! Алла! Алла! — вздохнули и встали.

Роздал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошёл домой.

Наутро видит Жилин — ведёт красный кобылу за деревню, и за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава, — ручищи здоровые, — вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошёл рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать — кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили, покойника поминали. Все татары дома были. На четвёртый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убралась и поехали человек десять, и красный поехал: только Абдул дома остался. Месяц только народился, ночи ещё тёмные были.

«Ну, — думает Жилин, — нынче бежать надо», — и говорит Костылину. А Костылин заробел.

— Да как же бежать? Мы и дороги не знаем.

— Я знаю дорогу.

— Да и не дойдём в ночь.

— А не дойдём — в лесу переднюем. Я вот лепёшек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо — пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые — за то, что ихнего русские убили. Поговаривают — нас убить хотят.

Подумал, подумал Костылин.

— Ну, пойдём!

## V

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтобы и Костылину пролезть, и сидят они — ждут, чтобы затихло в ауле.

Только затих народ в ауле, Жилин полез под степу, выбрался. Шепчет Костылину:

— Полезай.

Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была — пёстрая собака, и злая-презлая; звали её Уляшин. Жилин уже наперёд прикормил её. Услыхал Уляшин, — забрежал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепёшки кусок, Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.

Хозяин услышал, загайкал из сакли:

— Гайты! Гайть, Уляшин!

А Жилин за ушами почёсывает Уляшина. Молчит собака, трётся ему об ноги, хвостом махает.

Посидели они за углом. Затихло всё; только слышно, овца перхает в закуте да низом вода по камушкам шумит. Темно, звёзды высоко стоят на небе; над горой молодой месяц покраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко, белеется.

Поднялся Жилин, говорит товарищу:

— Ну, брат, айда!

Тронулись, только отошли, слышат — запел мулла на крыше: «Алла, Бесмилла! Ильрахман!» Значит — пойдёт народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдёт. Опять затихло.

— Ну, с богом! — Перекрестились, пошли. Прошли через двор под кручь к речке, перешли речку, пошли ложиной. Туман густой да низом стоит, а над головой звёзды виднёненьки. Жилин по звёздам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки — стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошёл босиком. Попрыгивает с камушка на камушек да на звёзды поглядывает. Стал Костылиң отставать.

— Тише,— говорит,— иди; сапоги проклятые — все ноги стёрли.

— Да ты сними, легче будет.

Пошёл Костылин босиком — ещё того хуже: изрезал все ноги по камням и всё отстаёт. Жилин ему говорит.

— Ноги обдерёшь — заживут, а догонят — убьют — хуже.

Костылин ничего не говорит, идёт покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат — вправо собаки забрежали.

Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал.

— Эх,— говорит,— ошиблись мы — вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел; назад надо да влево, в гору. Тут лес должен быть.

А Костылин говорит:

— Подожди хоть немножко, дай вздохнуть,— у меня ноги в крови все.

— Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как!

И побежал Жилин назад, и влево в гору, в лес.

Костылин всё отстаёт и охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а сам всё идет.

Поднялись на гору. Так и есть — лес. Вошли в лес,— по колючкам изодрали всё платье последнее. Напали на дорожку в лесу. Идут.

— Стой! — Затапало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилось. Тронулись они — опять затапало. Они остановятся — и оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге — стоит что-то: лошадь не лошадь, и на лошади что-то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло — слышит. «Что за чудо!» Свистнул Жилин потихоньку,— как шаркнет с дороги в лес и затрещало по лесу, точно буря летит, сучья ломает.

Костылин так и упал со страху. А Жилин смеётся, говорит:

— Это олень. Слышишь — как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится.

Пошли дальше. Уж высожары спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет ли,— не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли и что до своих — вёрст десять ещё будет, а приметы верной нет, да и ночью не разберёшь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит:

— Как хочешь, а я не дойду,— у меня ноги не идут. Стал его Жилин уговаривать.

— Нет,— говорит,— не дойду, не могу.

Рассердился Жилин, плюнул, обругал его.

— Так я же один уйду,— прощай!

Костылин вскочил, пошёл. Прошли они версты четыре. Туман в лесу ещё гуще сел, ничего не видать перед собой, и звёзды уж чуть видны.

Вдруг слышат, впереди топает лошадь. Слышно — подковами за камни цепляется. Лёг Жилин на брюхо, стал по земле слушать.

— Так и есть — сюда, к нам конный едет!

Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит — верховой татарин едет, корову гонит, сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину.

— Ну, пронёс бог, — вставай, пойдём.

Стал Костылин вставать и упал.

— Не могу, — ей-богу, не могу; сил моих нет.

Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны, — он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин:

— Ой, больно!

Жилин так и обмер.

— Что кричишь? Ведь татарин близко — услышит. — А сам думает: «Он и вправду расслаб; что мне с ним делать? Бросить товарища не годится».

— Ну, — говорит, — вставай, садись на закорки, снесу, коли уж идти не можешь.

Подсадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволок.

— Только, — говорит, — не дави ты меня руками за глотку ради Христа. За плечи держись.

Тяжело Жилину, — ноги тоже в крови и уморился. Нагнётся, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нём Костылин, тащит его по дороге.

Видно, услышал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружьё, выпалил, — не попал, завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге.

— Ну, — говорит Жилин, — пропали, брат! Он, собака, сейчас соберёт татар за нами в погоню. Коли не уйдём версты за три, — пропали. — А сам думает на Костылина: «И чёрт меня дёрнул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушёл».

Костылин говорит:

— Иди один, за что тебе из-за меня пропадать.

— Нет, не пойду: не годится товарища бросать.

Подхватил опять на плечи, попёр. Прошёл он так с версту. Всё лес идёт, и не видать выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто тучки заходить стали. Не видать уж звёзд. Измучился Жилин.

Пришёл, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина.

— Дай,— говорит,— отдохну, напьюсь. Лепёшек поедим. Должно быть, недалеко.

Только прилёт он пить, слышит — затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под кручь, и легли.

Слышат -- голоса татарские; остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравливают. Слышат — трещит что-то по кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лезут и татары — тоже чужие; схватили их, повязали, посадили на лошадей, повезли.

Проехали версты три,— встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, посадили на своих лошадей, повезли назад в аул.

Абдул уж не смеётся и ни слова не говорит с ними.

Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плётками бьют их, визжат.

Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришёл. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят: надо их дальше в горы услать, а старик говорит: «Надо убить». Абдул спорит, говорит: «Я за них деньги отдал. Я за них выкуп возьму». А старик говорит: «Ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кормить. Убить,— и кончено».

Разошлись. Подошёл хозяин к Жилину, стал ему говорить:

— Если,— говорит,— мне не пришлют за вас выкуп, я через две недели вас запорю. А если затеешь опять бежать,— я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши!

Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти, и спустили их в эту яму.

## VI

Житьё им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто непечёное, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всём теле стала; и всё стонет или спит. И Жилин приуныл, видит — дело плохо. И не знает, как выдраться.

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать; увидал хозяин, пригрозил убить.

Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо ему на колени лепёшка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин и думает: «Не поможет ли Дина?»

Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак, думает: «Как придёт Дина, брошу ей».

Только на другой день нет Дины. А слышит Жилин — затопали лошади, проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал он, а догадывается, что русские близко подошли, и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать.

Поговорили и ушли. Вдруг слышит — зашуршало что-то наверху. Видит: Дина присела на корточки, колени выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой. Глазёнки так и блестят, как звёздочки; вынула из рукава две сырые лепёшки, бросила ему. Жилин взял и говорит:

— Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На, вот! — Стал ей швырять по одной, а она головой мотает, не смотрит.

— Не надо, — говорит. Помолчала, посидела и говорит: — Иван, тебя убить хотят. — Сама себе рукой на шею показывает.

— Кто убить хочет?

— Отец, ему старики велят. А мне тебя жалко.

Жилин и говорит:

— А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси.

Она головой мотает,— что «нельзя». Он сложил руки, молится ей.

— Дина, пожалуйста! Динушка, принеси!

— Нельзя,— говорит,— увидят, все дома,— и ушла.

Вот сидит вечером Жилин и думает: «Что будет?» Всё поглядывает вверх. Звёзды видны, а месяц ещё не восходил. Мулла прокричал, затихло всё. Стал уже Жилин дремать, думает: «Побойтся девка».

Вдруг на голову ему глина посыпалась; глянул кверху — шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползёт в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой, спустил — шест здоровый. Он ещё прежде этот шест на хозяйской крыше видел.

Поглядел вверх: звёзды высоко в небе блестят; и над самой ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет:

— Иван, Иван! — А сама руками у лица всё машет, что «тише, мол».

— Что?— говорит Жилин.

— Уехали все, только двое дома.

Жилин и говорит:

— Ну, Костылин, пойдём, попытаемся последний раз; я тебя подсажу.

Костылин и слышать не хочет.

— Нет,— говорит,— уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и повернуться сил нет?

— Ну, так прощай, не поминай лихом.— Поцеловался с Костылиным.

Ухватился за шест, велел Дине держать и полез. Раза два он обрывался,— колодка мешала. Поддержал его Костылин,— выбрался кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху изо всех сил, сама смеётся.

Взял Жилин шест и говорит:

— Снеси на место, Дина, а то хватятся,— прибьют тебя.— Потатила она шест, а Жилин под гору пошёл. Слез под кручь, взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий,— никак не собьёт, да и неловко. Слышит, бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: «Верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит:

— Дай, я.

Села на коленочки, началá выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики,— ничего силы нет. Бросила ка-



мень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо его держит. Оглянулся Жилин, видит — налево за горой зарево красное загорелось, месяц встаёт. «Ну, — думает, — до месяца надо лощину пройти, до лесу добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке, — да надо идти.

— Прощай, — говорит, — Динушка. Век тебя помнить буду.

Ухватилась за него Дина: шарит по нём руками, ищет — куда бы лепёшки ему засунуть. Взял он лепешки.

— Спасибо, — говорит, — умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? — И погладил её по голове.

Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте слышно — монисты в косе по спине побрякивают.

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошёл по дороге, — ногу волочит, а сам все на зарево поглядывает, где месяц встает. Дорогу он узнал. Прямоком идти вёрст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешёл он речку, — побелел уже свет за горой. Пошёл лощиной, идёт, сам поглядывает: не видать ещё месяца. Уж зарево посветлело и с одной стороны лощины всё светлее, светлее становится. Ползёт под гору тень, всё к нему приближается.

Идёт Жилин, всё тени держится. Он спешит, а месяц ещё скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор, — бело, светло, совсем как днём. На деревьях все листочки видны. Тихо, светло по горам, как вымерло всё. Только слышно, внизу речка журчит.

Дошёл до лесу — никто не попался. Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать.

Отдохнул, лепёшку съел. Нашёл камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошел по дороге. Прошел с версту, выбился из сил — ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. «Нечего делать, — думает, — буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До крепости мне не дойти, а как рассветет, — лягу в лесу, переднюю, а ночью опять пойду».

Всю ночь шёл. Только попались два татарина верхá-

ми, да Жилин издалека их услышал, схоронился за дерево.

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошёл. «Ну,— думает,— ещё тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошёл тридцать шагов, видит — лес кончается. Вышел на край — совсем светло, как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близёхонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется и люди у костров.

Вгляделся — видит: ружья блестят: казаки, солдаты.

Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошёл под гору. А сам думает: «Избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин: хоть близко, а не уйдёшь».

Только подумал — глядь: налево, на бугре, стоят трое татар, десятины на две. Увидали его,— пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было духу своим:

— Братцы! выручай! братцы!

Услыхали наши,— выскочили казаки верховые. Пустились к нему — наперерез татарам.

Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит:

— Братцы! братцы! братцы!

Казаков человек пятнадцать было.

Испугались татары — не доезжаячи стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам.

Окружили его казаки, спрашивают: кто он, что за человек, откуда? А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает:

— Братцы! Братцы!

Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает.

Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину.

Рассказал Жилин, как с ним всё дело было, и говорит:

— Вот и домой съездил, женился! Нет, уж, видно, не судьба моя.

И остался служить на Кавказе. А Костылина только ещё через месяц выкупили за пять тысяч. Еле живого привезли.

## ИЛЬЯС

Жил в Уфимской губернии башкирец Ильяс. Остался Ильяс от отца небогатым. Отец только женил его год и сам помер. Было в то время именья у Ильяса 7 кобыл, 2 коровы и 2 десятка овец. Но Ильяс был хозяин и стал приобретать: с утра до вечера трудился с женою, раньше всех вставал и позже всех ложился и с каждым годом все богател. Прожил как в трудах Ильяс 35 лет и нажил большое именье.

Стало у Ильяса 200 голов лошадей, 150 голов рогатого скота и 1200 овец. Работники пасли табуны и стада Ильясовы, и работницы доили кобылиц и коров и делали кумыс, масло и сыр. Всего было много у Ильяса; и в округе все завидовали Ильясовой жизни. Люди говорили: «счастливый человек Ильяс: всего у него много, ему и умирать не пужно». Стали Ильяса знать хорошие люди и с ним знакомство водить. И приезжали к нему гости издалека. И всех принимал и всех кормил и поил Ильяс. Кто бы ни пришел, всем был кумыс, всем был чай и шербат, и баранина. Приедут гости, сейчас бьют барана или двух, а много наедет гостей, бьют и кобылу.

Детей у Ильяса было два сына и дочь. Женил Ильяс сыновей и выдал дочь замуж. Когда беден был Ильяс, сыновья работали с ним и сами стерегли табуны и овец, а как стали богаты, начали сыновья баловаться, а один стал пить. Одного, старшего, в драке убили, а у другого, меньшого, попала сноха гордая, и стал этот сын отца не слушаться, и пришлось Ильясу отделить его.

Отделил его Ильяс, дал ему дом и скотины, и убавилось богатство Ильясово. И скоро после этого напала болезнь на овец Ильясовых, и попадало много. Потом вышел голодный год — сено не родилось: поколело много скота в зиму. Потом косяк лучший киргизцы отбили, и стало Ильясово именье убывать. Стал Ильяс падать ниже и ниже. А сил стало меньше. И дошел к 70 годам Ильяс до того, что стал распродавать шубы, ковры, седла, кибитки, потом и скотину стал продавать последнюю,

и сошел Ильяс на нет. И сам не видал, как ничего не осталось, и пришлось на старости лет идти с женою жить в люди. Только и осталось у Ильяса именья, что платье на теле, шуба, шапка и ичеги с башмаками, да жена, Шам-Шемаги, тоже старуха. Сын отделенный ушел в далекую землю, а дочь померла. И помочь старикам было некому.

Пожалел стариков их сосед Мухамедшах. Сам Мухамедшах был ни беден, ни богат, а жил ровно и человек был хороший. Вспомнил он хлеб-соль Ильясову, пожалел его и сказал Ильясу: «Приходи,— говорит,— ко мне, Ильяс, жить с старухой. Лето по силе своей мне работай на бахчах, а зимой скотину корми, а Шам-Шемаги пусть кобыл доит и кумыс делает. Кормить, одевать буду вас обоих и, чего вам нужно, вы скажите, я дам». Поблагодарил Ильяс соседа и стал с женою в работниках у Мухамедшаха. Сначала тяжело показалось, а после привыкли и стали старики жить и по силе работать.

Хозяину выгодно было таких людей держать, потому что старики сами хозяева были и все порядки знали и не ленились, по силе работали; только жалко бывало Мухамедшаху смотреть, как такие высокие люди на такую низкую ступень пали.

И случилось раз, прнехали к Мухамедшаху сваты, далекие гости; пришел и мулла. Велел Мухамедшах поймать барана и убить. Ильяс освежевал барана и сварил и послал гостям. Поели гости баранины, напились чаю и взялись за кумыс. Сидят гости с хозяином на пуховых подушках, на коврах, пьют из чашек кумыс и беседуют, а Ильяс убрался с делами и прошел мимо двери. Увидал его Мухамедшах и говорит гостю:

— Видишь ты, этот старик прошел мимо двери?

— Видел, — говорит гость; — а что же в нем удивительного?

— А то в нем удивительного, что это наш первый богач был — Ильясом звать, может, ты слышал?

— Как не слышать, — говорит гость; — видать не видал, а слава его далеко была.

— Так вот теперь ничего у него не осталось, и живет он у меня в работниках, и старуха его с ним же, кобыл доит.

Подивился гость, пощелкал языком, помотал головой и говорит:

— Да, видно, так счастье перелетает, как колесо; кого вверх поднимает, кого вниз опускает. Что же,— говорит гость,— тоскует, я чай, старик?

— Кто его знает, живет тихо, смирно, работает хорошо.

Гость и говорит:

— А можно поговорить с ним? Расспросить бы его про его жизнь.

— Что ж, можно! — говорит хозяин и кликнул за кибитку:

— Бабай (значит дедушка по-башкирски), заходи, выпей кумысу и старуху зови.

И вошел Ильяс с женою. Поздоровался Ильяс с гостями и хозяином, прочел молитву и присел на коленочки у двери; а жена прошла за занавеску и села с хозяйкой. Подали Ильясу чашку с кумысом. Поздоровался Ильяс с гостями и хозяином, поклонился, отпил немного и поставил.

— А что, дедушка, — говорит ему гость, — скучно, я чай, тебе, глядя на нас, свое прежнее житье вспоминать,— как ты в счастье был и как ты теперь в горе живешь?

И усмехнулся Ильяс и сказал:

— Сказать мне тебе про счастье и несчастье, так ты не поверишь; спроси лучше бабу мою; она баба — что на сердце, то и на языке; она тебе всю правду об этом деле скажет.

И сказал гость за занавеску:

— Ну что ж, бабушка, скажи, как ты судишь про прежнее счастье и про теперешнее горе?

И сказала Шам-Шемаги из-за занавески.

— А вот как сужу: жили мы с стариком 50 лет — счастья искали и не нашли, а только вот теперь второй год, как у нас ничего не осталось и мы в работниках живем, мы настоящее счастье нашли и другого нам никакого не надо.

Удивился гость, и удивился хозяин, привстал даже, откинул занавеску, чтобы видеть старуху. А старуха стоит, сложив руки, усмехается, на старика своего смотрит, и старик усмехается. Старуха еще раз сказала:

— Правду я говорю, не шучу: полвека счастья искали и, пока богаты были, все не находили; теперь ничего

не осталось, в люди пошли жить,— такое счастье нашли, что лучше не надо.

— Да в чем же ваше счастье теперь?

— А вот в чем: были мы богаты, не было у нас с стариком часу покоя; ни поговорить, ни об душе подумать, ни богу помолиться. Сколько у нас заботы было! То гости к нам,— забота, кого чем угостить, чем подарить, чтобы не обессудили нас. То гости съедут, за работниками смотрим — они норовят отдохнуть да послаще съесть, а мы глядим, чтобы наше не пропадало — грешим. То забота, как бы волк не зарезал жеребенка или теленка, как бы воры косяка не угнали. Спать ляжешь, не спится — как бы ягнят не передавили овцы. Пойдешь, ходишь ночью; только успокойсья,— опять забота, как корму на зиму запасти. Да мало того, и согласия у нас с стариком не было. Он говорит, так надо сделать, а я говорю этак, и начнем грешить и браниться. Так жили мы из заботы в заботу, из греха в грех и не видали счастливой жизни.

— Ну, а теперь?

— Теперь встанем мы с стариком, поговорим всегда по любви, в согласьи, спорить нам не о чем, заботиться нам не о чем,— только нам и заботы, что хозяину служить. Работаем по силам, работаем с охотой, так, чтоб хозяину не убыток, а барыш был. Придем — обед есть, ужин есть, кумыс есть. Холодно — кизяк есть погреться и шуба есть. И есть, когда поговорить, и об душе подумать, и богу помолиться. Пятьдесят лет счастья искали, теперь только нашли.

Засмеялись гости.

А Ильяс сказал:

— Не смейтесь, братцы, не шутка это дело, а жизнь человеческая. И мы глупы были с старухой и плакали прежде, что богатство потеряли, а теперь бог открыл нам правду, и мы не для своей утехи, а для вашего добра вам ее открываем.

И мулла сказал:

— Это умная речь, и все точную правду сказал Ильяс, это и в писании написано.

И перестали смеяться гости и задумались.

## МНОГО ЛИ ЧЕЛОВЕКУ ЗЕМЛИ НУЖНО

### I

Приехала из города старшая сестра к меньшей в деревню. Старшая за купцом была в городе, а меньшая за мужиком в деревне. Пьют чай сестры, разговаривают. Стала старшая сестра чваниться — свою жизнь в городе выхвалять: как она в городе просторно и чисто живет и ходит, как она детей наряжает, как она сладко ест и пьет и как на катанья, гулянья и в театры ездит.

Обидно стало меньшей сестре, и стала она купеческую жизнь унижать, а свою крестьянскую возвышать.

— Не променяю я,— говорит,— своего житья на твое. Даром что серо живем, да страху не знаем. Вы и почище живете, да либо много наторгуете, либо вовсе проторгуетесь. И пословица живет: барышу наклад — большой брат. Бывает и то: нынче богат, а завтра под окнами находишься. А наше мужицкое дело вернее: у мужика живот тонок, да долог, богаты не будем, да сыты будем.

Стала старшая сестра говорить:

— Сытость-то какая,— со свиньями да с телятами! Ни убранства, ни обращенья! Как ни трудись твой хозяин, как живете в навозе, так и помрете, и детям то же будет.

— А что ж,— говорит меньшая,— наше дело такое. Зато твердо живем, никому не кланяемся, никого не боимся. А вы в городу все в соблазнах живете; нынче хорошо, а завтра подвернется нечистый,— глядь, и соблазнит хозяина твоего либо на карты, либо на вино, либо на крадю какую. И пойдет все прахом. Разве не бывает?

Слушал Пахом — хозяин на печи, что бабы балакают.

— Правда это,— говорит,— истинная. Как наш брат с измальства ее, землю-матушку, переворачивает, так дурь-то в голову и не пойдет. Одно горе — земли мало! А будь земли вволю, так я никого, и самого черта не боюсь!

Отпили бабы чай, побалакали еще об нарядах, убрали посуду, полегли спать.

А черт за печкой сидел, все слышал. Обрадовался он, что крестьянская жена на похвальбу мужа навела: похваляется, что, была б у него земля, его и черт не возьмет.

«Ладно,— думает,— поспорим мы с тобой; я тебе земли много дам. Землей тебя и возьму».

## II

Жила рядом с мужиками барынька небольшая. Было у ней 120 десятин земли. И жила прежде с мужиками смирно — не обижала. Да нанялся к ней солдат отставной в приказчики и стал донимать мужиков штрафами. Как не бережется Пахом, а либо лошадь в овсы забегит, либо корова в сад забредет, либо телята в луга уйдут, — за все штраф.

Расплачивается Пахом и домашних ругает и бьет. И много греха от этого приказчика принял за лето Пахом. Уж и рад был, что скотина на двор стала,— хоть и жалко корму, да страху нет.

Прошел зимой слух, что продает барыня землю и что ладит купить ее дворник с большой дороги. Услыхали мужики, ахнули. «Ну, — думают,— достанется земля дворнику, замучает штрафами хуже барыни. Нам без этой земли жить нельзя, мы все у ней в кругу». Пришли мужики к барыне миром, стали просить, чтоб не продавала дворнику, а им отдала. Обещали дорожке заплатить. Согласилась барыня. Стали мужики ладить миром всю землю купить; собирались и раз и два на сходки — не сошлось дело. Разбирает их нечистый, никак не могут согласиться. И порешили мужики порознь покупать, сколько кто осилит. Согласилась и на это барыня. Услыхал Пахом, что купил у барыни 20 десятин сосед и она ему половину денег на года рассрочила. Завидно стало Пахому: «раскупят, — думает, — всю землю, останусь я ни при чем». Стал с женой советовать.

— Люди покупают, надо, — говорит, — и нам купить десятин десяток. А то жить нельзя: одолел приказчик штрафами.

Обдумали, как купить. Было у них отложено сто рублей, да жеребенка продали, да пчел половину, да сына заложили в работники, да еще у свояка занял, и набралась половина денег.

Собрал Пахом деньги, облюбовал землю, 15 десятин с лесочком, и пошел к барыне торговаться. Выторговал 15 десятин, ударил по рукам и задаток дал. Поехали в



город, купчую закрепили, деньги половину отдал, остальные в два года обязался выплатить.

И стал Пахом с землей. Занял Пахом семян, посеял покупную землю; родилось хорошо. В один год выплатил долг и барыне и свояку. И стал Пахом помещиком: свою землю пахал и сеял, на своей земле сено косил, со своей земли колья рубил и на своей земле скотину кормил. Выедет Пахом на свою вечную землю пахать или придет всходы и луга посмотреть, — не нарадуется. И трава-то, ему кажется, растет, и цветы-то цветут на ней совсем иные. Бывало, проезжал по этой земле — земля как земля, а теперь совсем земля особенная стала.

### III

Живет так Пахом, радуется. Все бы хорошо, только стали мужики у Пахома хлеб и луга травить. Честью просил, все не унимаются: то пастухи упустят коров в луга, то лошади из ночного на хлеба зайдут. И сгонял Пахом и прощал, все не судился, потом наскучило, стал в волостное жаловаться. И знает, что от тесноты, а не с умыслом делают мужики, а думает: «нельзя же и спускать, этак они все вытравят. Надо поучить».

Поучил так судом раз, поучил другой, оштрафовали одного, другого. Стали мужики-соседи на Пахома сердце держать; стали другой раз и нарочно травить. Забрался какой-то ночью в лесок, десяток липок на лыки срезал. Проехал по лесу Пахом, — глядь, белеется. Подъехал — лутошки брошены лежат, и пенушки торчат. Хоть бы из куста крайние срезал, одну оставил, а то подряд злодей все счистил. Обозлился Пахом: — «Ах, — думает, — вызнать бы, кто это сделал; уж я бы ему выместил». Думал, думал, кто: «Больше некому, — думает, — как Семке». Пошел к Семке на двор искать, ничего не нашел, только поругались. И еще больше уверился Пахом, что Семен сделал. Подал прошение. Вызвали на суд. Судили, судили — оправдали мужика: улики нет. Еще пуще обиделся Пахом; с старшиной и с судьями разругался. «Вы, — говорит, — воров руку тянете. Кабы сами по правде жили, не оправляли бы воров». Поссорился Пахом и с судьями и с соседями. Стали ему и красным петухом грозиться. Стало Пахому в земле жить просторней, а в миру теснее.

И прошел в то время слух, что идет народ на новые места. И думает Пахом: «Самому мне от своей земли идти незачем, а вот кабы из наших кто пошли, у нас бы просторнее стало. Я бы их землю на себя взял, себе в круг пригнал; житье бы лучше стало. А то все теснота».

Сидит раз Пахом дома, заходит мужик прохожий. Пустили ночевать мужика, покормили, разговорились, — откуда мол, бог несет? Говорит мужик, что идет снизу, из-за Волги, там в работе был. Слово за слово, рассказывает мужик, как туда народ селиться идет. Рассказывает: «Поселились там ихние, приписались в общество, и нарезали им по 10 десятин на душу. А земля такая, — говорит, — что посеяли ржи, так солома — лошади не видать, а густая, что горстей пять — и сноп. Один мужик, — говорит, — совсем бедный, с одними руками пришел, а теперь шесть лошадей, две коровы».

Разгорелось у Пахома сердце. Думает: «Что ж тут в тесноте бедствовать, коли можно хорошо жить. Продам здесь и землю и двор; там я на эти деньги выстроюсь и заведение все заведу. А здесь в этой тесноте — грех один. Только самому все путем вызнать надо».

Собрался на лето, пошел. До Самары плыл по Волге вниз на пароходе, потом пеший верст 400 прошел. Дошел до места. Все так точно. Живут мужики просторно, по 10 десятин земли на душу нарезано, и принимают в общество с охотой. А коли кто с денежками, покупай, кроме надельной, в вечную, сколько хочешь, по три рубля самой первой земли; сколько хочешь, купить можно!

Разузнал все Пахом, вернулся к осени домой, стал все распродавать. Продал землю с барышом, продал двор свой, продал скотину всю, выписался из общества, дождался весны и поехал с семьей на новые места.

#### IV

Приехал Пахом на новые места с семейством, приписался в большое село в общество. Попоил стариков, бумаги все выправил. Приняли Пахома, нарезали ему на 5 душ надельной земли 50 десятин в разных полях, кроме выгона. Построился Пахом, скотину завел. Земли у него одной душевой против прежнего втрое стало. И земля хлебородная. Житье против того, что на старине

было, вдесятеро лучше. И пахотной земли и кормов вволю. Скотины сколько хочешь держи.

Сначала, покуда строился да заводился, хорошо показалось Пахому, да обжился — и на этой земле тесно показалось. Посеял первый год Пахом пшеницу на душевой, — хороша уродилась. Разохотился он пшеницу сеять, а душевой земли мало. И какая есть, не годится. Пшеницу там на ковыльной или залежной земле сеют. Посеют год, два и запускают, пока опять ковылем прорастет. А на такую землю охотников много, на всех и не хватает. Тоже из-за нее споры; побогаче кто — хотят сами сеять а бедняки отдают купцам за подати. Захотел Пахом побольше посеять. Поехал на другой год к купцу, купил земли на год. Посеял побольше — родилось хорошо; да далеко от села: верст за 15 возить надо. Видит — в округе купцы-мужики хуторами живут, богатеют: «То ли дело, — думает Пахом, --- коли бы тоже в вечность землицы купить да построить хутор. Все бы в кругу было». И стал подумывать Пахом, как бы земли в вечность купить.

Прожил так Пахом три года. Снял землю, пшеницу сеял. Года вышли хорошие, и пшеница хороша рожалась, и деньги залежные завелись. Жить бы да жить, да скучно показалось Пахому каждый год в людях землю покупать, из-за земли воловодиться: где хорошенькая земляца есть, сейчас налетят мужики, всю разберут; не поспел укупить и не на чем сеять. А то купил на 3-й год с купцом пополам выгон у мужиков; и вспахали уж, да засудились мужики, так и пропала работа. «Кабы своя земля была, — думает, — никому бы не кланялся, и греха бы не было».

И стал Пахом разузнавать, где купить земли в вечность. И попал на мужика. Были куплены у мужика 500 десятин, да разорился он и продает за дешево. Стал Пахом ладить с ним. Толковал, толковал — сладился за 1500 руб., половину денег обождать. Совсем уж было поладили, да заезжает раз к Пахому купец проезжий на двор покормить. Попили чайку, поговорили. Рассказывает купец, что едет он из дальних башкир. Там, рассказывает, купил у башкирцев земли тысяч 5 десятин. И стало всего 1000 рублей. Стал спрашивать Пахом. Рассказал купец. «Только, — говорит, — стариков убоготворил. Халатов, ковров раздарил рублей на 100, да

цибик чаю, да попил винцом, кто пьет. И по 20 коп. за десятину взял». Показывает купчую. «Земля, — говорит, — по речке, и степь вся ковыльная». Стал спрашивать Пахом, как и что, «Земли, — говорит купец, — там не обойдешь и в год: все башкирская. А народ несмышленный, как бараны. Можно почти даром взять». — «Ну, — думает Пахом, — что ж мне за мои 1000 руб. 500 десятин купить да еще долг на шею забрать. А тут я за 1000 рублей чем завладаю!»

## V

Расспросил Пахом, как проехать, и только проводил купца, собрался сам ехать. Оставил дом на жену, сам собрался с работником, поехал. Заехали в город, купили чаю цибик, подарков, вина, — все, как купец сказал. Ехали, ехали, верст 500 отъехали. На седьмые сутки приехали на башкирскую кочевку. Все так, как купец говорил. Живут все в степи, над речкой, в кибитках войлочных. Сами не пашут и хлеба не едят. А в степи скотина ходит и лошади косяками. За кибитками жеребята привязаны, и к ним два раза в день маток пригоняют; кобылье молоко доят и из него кумыс делают. Бабы кумыс болтают и сыр делают, а мужики только и знают — кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют. Гладкие все, веселые, все лето празднуют. Народ совсем темный и по-русски не знают, а ласковый.

Только увидали Пахома, повышли из кибиток башкирцы, обступили гостя. Нашелся переводчик. Сказал ему Пахом, что он об земле приехал. Обрадовались башкирцы, подхватили Пахома, свели его в кибитку хорошую, посадили на ковры, подложили под него подушек пуховых, сели кругом, стали угощать чаем, кумысом. Барана зарезали и бараниной накормили. Достал Пахом из тарантаса подарки, стал башкирцам раздавать. Одарил Пахом башкирцев подарками и чай разделил. Обрадовались башкирцы. Лопотали, лопотали промеж себя, потом велели переводчику говорить.

— Велят тебе сказать, — говорит переводчик, — что они полюбили тебя и что у нас обычай такой — гостю всякое удовольствие делать и за подарки отдаривать. Ты нас одарил; теперь скажи, что тебе из нашего полюбится, чтоб тебя отдарить?

— Полюбились мне, — говорит Пахом, — больше всего у вас земля. У нас, говорит, в земле теснота, да и земля выпаханная, а у вас земли много и земля хороша. Я такой и не видывал.

Передал персводчик. Поговорили, поговорили башкирцы. Не понимает Пахом, что они говорят, а видит, что веселы, кричат что-то, смеются. Затихли потом, смотрят на Пахома, а переводчик говорит:

«Велят, — говорит, — они тебе сказать, что за твое добро рады тебе сколько хочешь земли отдать. Только рукой покажи какую — твоя будет».

Поговорили они еще и что-то спорить стали. И спросил Пахом, о чем спорят. И сказал переводчик:

— Говорят одни, что надо об земле старшину спросить, а без него нельзя. А другие говорят, и без него можно.

## VI

Спорят башкирцы, вдруг идет человек в шапке лисьей. Замолчали все и встали. И говорит переводчик: «Это старшина самый». Сейчас достал Пахом лучший халат и поднес старшине и еще чаю 5 фунтов. Принял старшина и сел на первое место. И сейчас стали говорить ему что-то башкирцы. Слушал, слушал старшина, кивнул головой, чтоб они замолчали, и стал говорить Пахому по-русски.

— Что ж, говорит, можно. Бери, где полюбится. Земли много.

«Как же я возьму, сколько хочу, — думает Пахом. — Надо же как ни есть закрепить. А то скажут твоя, а потом отнимут».

— Благодарим вас, — говорит, — на добром слове. Земли ведь у вас много; а мне немножко надо. Только бы мне знать, какая моя будет. Уж как-нибудь все-таки отмерять да закрепить за мной надо. А то в смерти-животе бог волен. Вы, добрые люди, даете, а придется — дети ваши отнимут.

— Правда твоя, — говорит старшина, — закрепить можно.

Стал Пахом говорить:

— Я вот слышал, у вас купец был. Вы ему тоже земли подарили и купчую сделали; так и мне бы тоже.

Все понял старшина.

— Это все можно, — говорит. — У нас и писарь есть, и в город поедем, и все печати приложим.

— А цена какая будет? — говорит Пахом.

— Цена у нас одна: 1 000 руб. за день.

Не понял Пахом.

— Какая же это мера — день? Сколько в ней десятин будет?

— Мы этого, — говорит, — не умеем считать. А мы за день продаем; сколько обойдешь в день, то и твое, а цена дню 1000 рублей.

Удивился Пахом.

— Да ведь это, — говорит, — в день обойти, земли много будет.

Засмеялся старшина.

— Вся твоя! — говорит. — Только один уговор: если назад не придешь в день к тому месту, с какого возьмешься, пропали твои деньги.

— А как же, — говорит Пахом, — отметить, где я пройду?

— А мы станем на место, где ты облюбуйешь, мы стоять будем, а ты иди, делай круг; а с собой скребку возьми и, где надобно, замечай, на углах ямки рой, дерничка клади, потом с ямки на ямку плугом проедем. Какой хочешь круг забирай, только до захода солнца приходи к тому месту, с какого взялся. Что обойдешь, все твое.

Обрадовался Пахом. Порешили наране выезжать. Потолковали, попили еще кумысу, баранины поели, еще чаю напились; стало дело к ночи. Уложили Пахома спать на пуховике, и разошлись башкирцы. Обещались завтра на зорьке собраться, до солнца на место выехать.

## VII

Лег Пахом на пуховики и не спится ему, все про землю думает. «Отхвачу, — думает, — палестину́ большую. Верст 50 обойду в день-то. День-то нынче что год; в 50 верстах земли-то что́ будет. Какую похуже — продам или мужиков пушу, а любенькую отберу, сам на ней сяду. Плуга два быков заведу, человека два работников найму; десятинок полсотни пахать буду, а на остальной скотину нагуливать стану».

Не заснул всю ночь Пахом. Перед зарей только забылся. Только забылся и видит он сон. Видит он, что лежит будто он в этой самой кибитке и слышит наружу гогочет кто-то. И будто захотелось ему посмотреть, кто такой смеется, и встал он, вышел из кибитки и видит — сидит тот самый старшина башкирский перед кибиткой, за живот ухватился обеими руками, закатывается, гогочет на что-то. Подошел он и спросил: «чему смеешься?» И видит он, будто это не старшина башкирский, а купец наемнишний, что к ним заезжал, об земле рассказывал. И только спросил у купца: «ты давно ли тут!» а это уж и не купец, а тот самый мужик, что на старине снизу заходил. И видит Пахом, что будто и не мужик это, а сам дьявол, с рогами и с копытами, сидит, хохочет, а перед ним лежит человек босиком, в рубахе и портках. И будто поглядел Пахом пристальней, что за человек такой? И видит, что человек мертвый и что это — он сам. Ужаснулся Пахом и проснулся. Проснулся. — «Чего не приснится», — думает. Огляделся; видит в открытую дверь — уж бело становится, светать начинается. «Надо, — думает, — будить народ, пора ехать». Поднялся Пахом, разбудил работника в тарантасе, велел запрягать и пошел башкирцев будить.

— Пора, — говорит, — на степь ехать, отмерять.

Повставали башкирцы, собрались все, и старшина пришел. Зачали башкирцы опять кумыс пить, хотели Пахома угостить чаем, да не стал он дожидаться.

— Коли ехать, так ехать, — говорит, — пора.

## VIII

Собрались башкирцы, сели — кто верхами, кто в тарантасы, поехали. А Пахом с работником на своем тарантасике поехали и с собой скребку взяли. Приехали в степь, заря занимается. Въехали на бугорок, по-башкирски — на шихан. Вылезли из тарантасов, послезали с лошадей, сошлись в кучку. Подошел старшина к Пахому, показал рукой.

— Вот, — говорит, — вся наша, что глазом окинешь. Выбирай любую.

Разгорелись глаза у Пахома: земля вся ковыльная, ровная как ладонь, черная как мак, а где лощинка — так разнотравье, трава по груди.

Снял старшина шапку лисью, поставил на землю.

— Вот, — говорит, — метка будет. Отсюда пойдешь, сюда приходи. Что обойдешь, все твое будет.

Вынул Пахом деньги, положил на шапку, снял кафтан, в одной поддевке остался, перепоясался потуже под брюхо кушаком, подтянулся, сумочку с хлебом за пазуху положил, баклажку с водой к кушаку привязал, подтянул голенища, взял скребку у работника, собрался идти. Думал, думал, в какую сторону взять, — везде хорошо. Думает — все одно: пойду на восход солнца. Стал лицом к солнцу, размялся, ждет, чтобы показалось оно из-за края. Думает — ничего времени пропускать не стану. Холодком и идти легче. Только брызнуло из-за края солнце, вскинул Пахом скребку на плечо и пошел в степь.

Пошел Пахом не тихо, не скоро. Отошел с версту; остановился, вырыл ямку и дернички друг на дружку положил, чтоб приметней было. Пошел дальше. Стал разминаться, стал и шагу прибавлять. Отошел еще, вырыл еще другую ямку.

Оглянулся Пахом. На солнце хорошо видно шихан, и народ стоит, и у тарантасов на колесах шины блестят. Угадывает Пахом, что верст 5 прошел. Согреваться стал, снял поддевку, вскинул на плечо, пошел дальше. Отошел еще верст пять. Тепло стало. Взглянул на солнышко, — уж время об завтраке.

«Одна упряжка прошла, — думает Пахом. — А их четыре в дню, рано еще заворачивать. Дай только разуюсь». Присел, разулся, сапоги за пояс, пошел дальше. Легко идти стало. Думает: «Дай пройду еще верст пяток, тогда влево загибать стану. Место-то хорошо очень, кидать жалко. Что дальше, то лучше». Пошел еще напрямик. Оглянулся — шихан уж чуть видно и народ, как мураши, на нем чернеется и чуть блестит что-то.

«Ну, — думает Пахом, — в эту сторону довольно забрал; надо загибать. Да и разопрел — пить хочется». Остановился, вырыл ямку побольше, положил дернички, отвязал баклажку, напился и загнул круто влево. Шел он, шел, трава пришла высокая, и жарко стало.

Стал Пахом уставать; поглядел он на солнышко, видит — самый обед. «Ну, — думает, — отдохнуть надо». Остановился Пахом, присел. Поел хлебца с водой, а ложиться не стал: думает — ляжешь, да и заснешь. Посидел немного, пошел дальше. Сначала легко пошел. От



еды силы прибавилось. Да уж жарко очень стало, да и сон клонить стал; однако все идет, думает — час терпеть, а век жить.

Прошел еще и по этой стороне много, хотел уж загигать влево, да глядь — лошинка подошла сырая; жаль бросать. Думает: «лен тут хорош уродится». Опять пошел прямо. Захватил лошинку, выкопал ямку за лошиной, загнул второй угол. Оглянулся Пахом на шихан: от тепла затуманилось, качается что-то в воздухе и сквозь мару чуть виднеются люди на шихане — верст 15 до них будет. «Ну, — думает Пахом, — длинные стороны взял, надо эту покороче взять». Пошел третью сторону, стал шагу прибавлять. Посмотрел на солнце — уж оно к полднику подходит, а по третьей стороне всего версты две прошел. И до места все те же верст 15. «Нет, — думает, — хоть кривая дача будет, а надо прямиком поспевать. Не забрать бы лишнего. А земли и так уж много». Вырыл Пахом поскорее ямку и повернул прямиком к шихану.

## IX

Идет Пахом прямо на шихан, и тяжело уж ему стало. Разопрел и ноги босиком изрезал и отбил, да и подкашиваться стали. Отдохнуть хочется, а нельзя, — не поспеешь дойти до заката. Солнце не ждет, все спускается да спускается. «Ах, думает, не ошибся ли, не много ли забрал? Что, как не поспеешь?» Взглянет вперед на шихан, взглянет на солнце: до места далеко, а солнце уж недалеко от края.

Идет так Пахом, трудно ему, а все прибавляет да прибавляет шагу. Шел, шел — все еще далеко; побежал рысью. Бросил поддевку, сапоги, баклажку, шапку бросил, только скребку держит, ей попирается. «Ах, — думает, — позарился я, все дело погубил, да добегу до заката». И еще хуже ему от страха дух захватывает. Бежит Пахом, рубаха и портки от пота к телу липнут, во рту пересохло. В груди как мехи кузнечные раздуваются, а в сердце молотком бьет, и ноги как не свои — подламываются. Жутко стало Пахому: думает, «как бы не помереть с натуги».

Помереть боится, а остановиться не может. «Столько, — думает, — пробежал, а теперь остановиться, — ду-

раком назовут». Бежал, бежал, подбегает уж близко и слышит: визжат, гайкают на него башкирцы, и от крика ихнего у него еще пуще сердце разгорается. Бежит Пахом из последних сил, а солнце уж к краю подходит, в туман зашло; большое, красное, кровавое стало. Вот-вот закатываться станет. Солнце близко, да и до места уж вовсе не далеко. Видит уж Пахом, и народ на шихане на него руками махает, его подгоняют. Видит шапку лисью на земле и деньги на ней видит; видит и старшину, как он на земле сидит, руками за пузо держится. И вспомнился Пахому сон. «Земли, — думает, — много, да приведет ли бог на ней жить. Ох, погубил я себя, — думает, — не добегу».

Взглянул Пахом на солнце, а оно до земли дошло, уж краешком заходить стало и дугой к краю вырезалось. Наддал из последних сил Пахом, навалился наперед телом, на силу ноги поспевают подставляться, чтоб не упасть. Подбежал Пахом к шихану, вдруг темно стало. Оглянулся, — уж зашло солнце. Ахнул Пахом. «Пропали, — думает, — мои труды». Хотел уж остановиться, да слышит, гайкают все башкирцы, и вспомнил он, что снизу ему кажется, что зашло, а с шихана не зашло еще солнце. Надулся Пахом, взбежал на шихан. На шихане еще светло. Взбежал Пахом, видит — шапка. Перед шапкой сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил Пахом сон, ахнул, подкосились ноги, и упал он наперед, руками до шапки достал.

— Ай, молодец! — закричал старшина. — Много земли завладел!

Подбежал работник Пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый лежит.

Пошелкали языками башкирцы, пожалели.

Поднял работник скрепку, выкопал Пахому могилу, ровно насколько он от ног до головы захватил — три аршина, и закопал его.

## ПОСЛЕ БАЛА

— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что всё дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что всё дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.

— От чего же? — спросили мы.

— Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

— Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

— Да, — сказал он. — Вся жизнь переменялась от одной ночи, или, скорее, утра.

— Да что же было?

— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б... — Иван Васильевич назвал фамилию. — Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает!

— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело. То, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не

знаю, хорошо ли это, или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался я с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег — ничего не пили, а не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

— Ну, нечего скромничать, — перебила его одна из собеседниц. — Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.

— Красавец так красавец, да не в этом дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача, хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жсна его в бархатном пюсовом платье и брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разлитое море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с нею, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся, с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались

ею, любовались и мужчины и женщины, несмотря на то что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти всё время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к пей и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне.

Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбаясь, говорила мне «епсоге»<sup>1</sup>. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

— Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали за талию, не только свое, но и ее тело, — сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

— Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, шиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Kagг — хороший был писатель, — на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...

— Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас.

— Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже из-за карточных столов папаша и мамаша, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

---

<sup>1</sup> Еще (франц.)

— Так после ужина кадриль моя? — сказал я ей, отводя ее к месту.

— Разумеется, если меня не увезут, — сказала она улыбаясь.

— Я не дам, — сказал я.

— Дайте же веер, — сказала она.

— Жалко отдавать, — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

— Так вот вам, чтоб вы не жалели, — сказала она, оторвала перышко от веера и подала мне.

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

— Смотрите, папá просят танцевать, — сказала она мне, указывая на высокую, статную фигуру ее отца полковника, с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

— Варенька, подите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елизаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

— Уговорите, та chère<sup>1</sup>, отца пройгись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, — обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми á la Nicolas I подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными, стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из

---

<sup>1</sup> Дорогая (франц.)

портупей, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, — «надо всё по закону», — улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, — хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четверугольными носками и без каблучков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», — думал я, и эти четверугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделять. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

— Ну, всё равно, пройдитеесь теперь вы с ней, — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елизаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я

испытывал в то время какое-то восторженное-нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадрили, и, несмотря на то, что я был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое всё росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидел, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее весра и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: «Гордость? да?» — и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья глядит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных ком-



батах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом — девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцевыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, всё было мне особенно мило и значительно.

Когда я вышел из поле, где был их дом, я увидел в конце его, по направлению гулянья, что-то большое черное и услышал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня всё время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?» — подумал я и по проезженной посередине поля, скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье», — подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщики и флейтщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.

— Что это они делают? — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.

— Татарина гоняют за побег, — сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увидел посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с

ними шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.

При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я слышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердствуйте. Братцы, помилосердствуйте». Но братцы не милосердствовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той... Полковник шел подле и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал с себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидел между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.

— О господи, — проговорил подле меня кузнец.

Шествие стало удаляться, всё так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и всё так же били барабаны и свистела флейта, и всё так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.

— Я тебе помажу, — услышал я его гневный голос. — Будешь мазать? Будешь?

И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабо-

сильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.

— Подать свежих шпицрутенов! — крикнул он, оглядываясь, и увидел меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердствуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услышал и увидел опять всё и вскочил.

«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, — думал я про полковника. — Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что же, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», — думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, — сказал один из нас. — Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.

— Ну, это уж совсем глупости, — с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

— Ну, а любовь что? — спросили мы.

— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль.

Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я реже стал видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и отчего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите... — закончил он.

*Ясная Поляна  
20 августа 1903 г.*

## ХАДЖИ-МУРАТ

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; паглые маргаритки; молочно-белые, с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости, и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновъй, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татаринном» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку,— он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в

лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он, по своей грубости и аляповатости, не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни,— подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещицье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взброжденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, — все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни», — думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, всё еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он всё стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его.

«Экая энергия! — подумал я. — Всё победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот всё не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.

Это было в конце 1851-го года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбирававшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком, в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежезмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулула поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум», — и открыл лицо.

— Алейкум селям, — улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое

стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца, — приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью, — сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

— Сыновья твои да чтобы живы были, — ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестящими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть «что нового?»

— Хабар иок — «нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами. — Я на чельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет, — заговорил старик. — Только и нового, что все зайцы совещаются, как им

орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо,— злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же, как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто?— спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой, Элдар имя ему,— сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо,— сказал старик и указал Элдору место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, растающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же, как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится послушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме,— сказал Садо,— моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.



Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю,— сказал Садо.— Позови Бату,— обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающей желтой черкеске, с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно,— быстро, весело заговорил Бата.— Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.

— Ладно,— сказал Хаджи-Мурат.— За труды получишь три,— сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил...

— Хорошо,— сказал Хаджи-Мурат.— Веревка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду,— сказал Бата.

— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут,— сказал Хаджи-Мурат.

— Ая! — кивая головой, говорил Бата.

— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю,— сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи послать надо,— сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел.— В Гехах надо вот что,— начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурёк — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во всё время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных, бесподовенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во всё то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать,— сказал он, показывая записку.

— Куда ответ?— спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано,— сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной, прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за по-

сещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меда и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош,— сказал старик, видимо, довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает,— повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что эта была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило всё его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

## II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал

Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгинские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев.

— Спасибо — сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял, — сердито проворчал Панов, — либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

— Трубку, черт ее знает куда запропала!

— Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.

— Чубук — вот он.

— А в землю прямо?

— Ну, где там.

— Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдесв! Прокурат малый. Ну-ка?

Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпускающая дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь,— сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст,— сказал Панов.

— Известно, офицер хороший,— подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший,— мрачно продолжал начавший разговор,— а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота рассудит,— сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек,— подтвердил Авдеев.

— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справиться, денежки нужны, а как он их забрал...— настаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет,— повторил Панов.— Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал займы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого не переставшего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются,— сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок,— сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья деревьев, то открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч,— вдруг спросил веселый Авдеев Панова,— бывает тебе когда скучно?

— Какая же скука?— неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда деньги-то пропил, ведь это всё от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

— А бывает, с вина еще хуже.

— И это было. Да куда денешься?

— Да с чего ж скучаешь-то?

— Я-то? Да по дому скучаю.

— Что ж — богато жили?

— Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.

И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

— Ведь я охотой за брата пошел,— рассказывал Авдеев.— У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось помянут мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! ступай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо,— сказал Панов.

— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.

— Аль покурим опять?— спросил Авдеев.

— Ну что ж, налаживай!

Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.

— А я, братцы, какой сон видел...

Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, ко-

торым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, они и увидели две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.

— Кто идет?— крикнул он.

— Чечен мирная, — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата.— Ружье иок, шашка иок,— говорил он, показывая на себя.— Кинезь надо.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому,— сказал Панов, объясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо,— говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем,— сказал Панов.— Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой,— обратился он к Авдееву,— а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри,— сказал Панов,— осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобые — ловкачи.

— А что это?— сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает.— Пырну разок — и пар вон.

— Куда ж он годится, коли заколешь,— сказал Бондаренко.— Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.

— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.

— Стало быть, нужно,— сказал Панов.— А свежо стало,— прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

— Что же, сдали?— спросил Панов.

— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие,— продолжал Авдеев.— Ей-богу! Я с ними как разговаривался.

— Ты, известно, разговоришься,— недовольно сказал Никитин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар?— Бар, говорит.— Баранчук, гово-

рю, бар? — Бар. — Много? — Парочка, говорит. Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.

— Как же, хорошие, — сказал Никитин, — попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет, — сказал Панов.

— Да, уж звездочки потухать стали, — сказал Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

### III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куриинского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длиннолицый, белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме созна-



ния ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — Видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать, — строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорей избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

— Извините, господа, — сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски. — Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен, — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьемте шампанского.

— На это я всегда готов, — сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно, — сказал адъютант.

— Василий! Подайте, — сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что?— поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать, — пожав плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать, — повторила Марья Васильевна. — Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес?— спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы увидимся завтра с вами, — сказал князь, слегка улыбаясь.

— Очень рад, — сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожалала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворový человек Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать? Болван!

— Да разве можно, Алексей Владимир...

— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...

Полторацкий хотел ударить Вавило, но раздумал.

— Ну черт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутую.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у капитанармуса. Вернувшись

домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишним лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти вольной. Собачья жизнь!»— думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался?— сказал проснувшийся Тихонов.

— Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел,— повторил Полторацкий.

— Скоро уж вставать,— сказал Тихонов,— и в шесть надо уж выступать.

— Вавило,— крикнул Полторацкий.— Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь.

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

— Eh bien, vous aller me dire ce que c'est?

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chère»! C'est un émissaire, n'est-ce pas?

— Quand même je ne puis pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi qui vais vous le dire!

— Vous? <sup>1</sup>.

— Хаджи-Мурат? да?— сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

#### IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хозяями на белой черкеске была выше откинувшейся свежebritой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком, верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился почник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо?— спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

---

<sup>1</sup> — Ну, ты скажешь мне, в чем дело?

— Но, дорогая...

— При чем тут «дорогая»? Это, конечно, лазутчик?

— Тем не менее я не могу тебе сказать.

— Не можешь? Ну, так я тебе скажу!

— Ты? (франц.).

— Думать надо,— сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом.— Женщина с крыши видела, как ты ехал,— сказал он,— и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибежала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо,— сказал Хаджи-Мурат.

— Кони готовы,— сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар,— прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услышав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.

Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по до-

роге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным прѣздом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.

— Чего надо?— крикнул Хаджи-Мурат.— Взять хотите? Ну, бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуха в легкие, засвистел и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидел сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и пошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя.

Это был аварец Ханефи, названный брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить, — сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой, — отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее. — Побережся надо, гнались за мной, — сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом так же, как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумках, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, — и всё удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во всё продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как рус-

ский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет», летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля илляха», и крики: «Хаджи-Мурат идет», и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшее уже сквозь стволы деревьев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хана-Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и когда Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате общанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.

## V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за



Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не выдавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая, так же как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко шелкнувшего

выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий, — ведь это в цепи! Ну, брат Костя, — обратился он к Фрезе, — твое счастье. Иди к роте. Мы сейчас такое устройство сражение, что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать, слышу — чикнуло, — говорил солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

— Что, брат, попало? — сказал он. — Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие,— заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым, — слышу — чикнуло, смотрю — он ружье выпустил.

— Те-те, — пощелкал языком Полторацкий. — Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примает душа, — сказал он. — Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сопровождаемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

— Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий, — сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело, — в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. — Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.

— Слушаю, — сказал Полторацкий, приложив руку к папаше, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидел сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой череске, в чалме на папаше и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, пронизательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый, волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека: один — молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами, — это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо, — чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди

и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит. Шамиль не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой.

Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопровождаемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублаговать будут, — сказал один.

— А то как же. Первый командер у Шмеля был. Теперь, небось...

— А молодчина, что говорить, джигит.

— А рыжий-то, рыжий, — как зверь косится.

— Ух, собака, должно быть.

Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Хаджи-Мурат, — слышал?

— Как не слышать, ваше сиятельство, били его много раз.

— Ну, да и от него доставалось.

— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальством.

Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

## VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно: командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через него вести всё дело. Воронцов же сделал всё сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, вострогла-

зый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал, как про необыкновенного вонна.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменяя игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что всё, что понравилось кунаку, то надо отдать кунаку.

— Твоя сын — кунак, — сказал он по-русски, глядя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено.

— Он прелестен, твой разбойник, — по-французски сказала Марья Васильевна мужу. — Булька стал любоваться его кинжалом — он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

— *C'est un objet de prix*<sup>1</sup>, — сказала Марья Васильевна.

— *Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau*<sup>2</sup>, — сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, глядя мальчика по курчавой голове, приговаривал: — Джигит, джигит.

---

<sup>1</sup> — Это ценная вещь (*франц.*).

<sup>2</sup> — Надо будет найти случай отдарить его (*франц.*).

— Прекрасный кинжал, прекрасный, — сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине. — Благодарствуй.

— Спроси его, чем я могу услужить ему, — сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мяридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его, — сказала Марья Васильевна мужу. — Он взял, где я взяла. — И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.

— Стало быть, скоро.

Воронцов вынул брегет и прижал пружинку, — часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.



— Voilà l'occasion. Donnez-lui la montre <sup>1</sup>, — сказала Марья Васильевна мужу.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.

— Vous feriez beaucoup mieux de rester; c'est mon affaire, mais pas la vôtre.

— Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir madame la générale <sup>2</sup>.

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое.

Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания.

— Прошу, — сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал:

---

<sup>1</sup> — Вот случай. Подари ему часы (франц.).

<sup>2</sup> — Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, а не твое.

— Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу (франц.).

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне, — отвечал Воронцов, бледнея от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?

— Я намеревался сделать это, барон, но...

— Я вам не барон, а ваше превосходительство.

И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал всё, что давно накопелось у него в душе.

— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо, — перебил его Воронцов.

— Я говорю правду и не позволю... — еще раздражительнее заговорил генерал.

В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера-Закомельского.

— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности. — заговорила Марья Васильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю...

— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю... — Она засмеялась.

И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.

— Я признаю, что я был неправ, — сказал Воронцов, — но...

— Ну, и я погорячился, — сказал Меллер и подал руку князю.

Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему мно-

го можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.

## VII

Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четверо больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрерывно зевавший, и еще два раненных в набеге три недели тому назад — один в кисть руки (этот был на ногах), другой в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.

— Другой раз палят, как горохом осыпают, и — ничего, а тут всего раз пяток выстрелили, — рассказывал один из принесших.

— Кому что назначено!

— Ох, — громко крикнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на пережизивающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старок, ваше высокоблагородие, — крихтя, проговорил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги.

Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор

ушел. Во всё время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серёгин. Авдеев всё так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.

— Ты, Пётра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.

— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококостую руку.

Авдеев как будто очнулся.

— А, Антоныч пришел!

— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серёгин напишет.

— Серёгин, — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серёгина, — напишешь?.. Так вот отпиши: «Сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал». Завистовал брату. Я тебе нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. Дай бог ему, я рад. Так и пропиши.

Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.

Панов покачал головой и не отвечал.

— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.

— В сумке была.

— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду, — сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.

— Что, брат, плохо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.

Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

## VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидев в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепи и стали молотить, равномерно ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.

Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к работающим.

— Ты чего лодырничает? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убрать надо же.

— Лошадей убрать, — передразнил отец. — Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!

— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.

— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.

Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап... Трап! — ударял после трех раз тяжелый цеп старика.

— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся, — проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.

— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил.

— Ну, будет, батюшка, — сказала сноха, откидывая разбитые свясла.

— Да, корми вас сам-шѐст, а работы и от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что...

По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невейное зерно в ворох, бабы и девка заметали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить, — сказала старуха. — Я завтракать собрала. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запряги и ступай, — сказал старик Аким. — Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. Попомнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругал, — огрызнулся теперь Аким на отца, — а нет его, меня глодаешь.

— Значит, стѐишь, — так же сердито сказала мать. — Не с Петрухой тебя сменять.

— Ну, ладно! — сказал сын.

— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.

— Про старые дрожжи поминать двжды, — сказала сноха, и все, положив цепи, пошли к дому.

Неладья между отцом и сыном начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было чет-

веро детей, у Петра никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдет ряд да два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было, как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем — душу бередить — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услышала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем со стариком, после того как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо и старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена Петра) «не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово в слово, пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, велела написать дьяку:

«А еще, милое мое дитяtko, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазyшки, о тебе сокрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил...» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала:

— Так и будет.

Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.

Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвинок «добрым людям для поминания раба божия Петра».

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой», и горько упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу».

В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

## IX

Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолубивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного



ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой, — и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил большую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезшему рыжеватуму генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазель, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях княжна-грузинка, не переставая улыбающаяся.

— Excellentes, chère amie, — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. — Simon a eu de la chance<sup>1</sup>.

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость, — для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно, — о том, что знаменитый, храбрый помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.

Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.

— И не раз, княгиня.

И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуя глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл «выручкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то гово-

---

<sup>1</sup> — Превосходные, милый друг, Семену повезло (франц.).

рил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «выручка» прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку, — он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка», — тут бы все и остались, потому...»

Генерал не успел досказать всё, потому что Манана Орбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него, — и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахмет-Хана Мехтулинского.

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со своей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.

Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазель, сидевшей подле грузинского князя.

— Quelle horreur! <sup>1</sup> — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.

— О нет, — сказал Воронцов улыбаясь, — мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.

— Да, за выкуп.

— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.

Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.

— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.

— Как же, в 49-м году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.

Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушные. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение:

— Что делать! A la guerre comme à la guerre <sup>2</sup>.

— Это большой человек.

— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон, — сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да, — сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его — Хаджи-Мурат.

— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю, — сказал кто-то.

— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: при Воронцове) не выдержать, — сказал другой.

---

<sup>1</sup> — Какой ужас! (*франц.*).

<sup>2</sup> — На войне как на войне (*франц.*).

— Tout cela est grâce à vous <sup>1</sup>, — сказала Манана Орбельяни.

Князь Воронцов старался умерить волны лесты, которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.

После обеда, когда в гостиной сносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый, — знаменитый по своей власти, — доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.

Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать.

Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллер-Закомельским.

Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.

— Всѣ о том же. Il a eu quelques désagrèments avec le commandant de la place. Simon a eu tort. But all is well what ends well <sup>1</sup>, — сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.

Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он дельвал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.

---

<sup>1</sup> — Все это благодаря вам (*франц.*).

<sup>2</sup> — У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был неправ (*франц.*). Но все хорошо, что хорошо кончается (*англ.*).

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народом. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка; тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет; тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чуваки, как перчатка, обтягивающие ступни, на бритой голове — папаха с чалмой, той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Ключенану и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими окнами с зелеными жалузи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику (он говорил «ты» молодым офицерам), — что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата. — До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повели-

теля, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Ключенау.

— Знаю, знаю, — сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл всё это). — Знаю, — сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоящую у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои, — продолжал он, обращаясь к переводчику. — Скажи князю: Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему, — сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.

— Да, да, — спокойно проговорил Воронцов. — Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику. — Да скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Что же именно он хочет делать? Садись, садись...

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.

— Это хорошо. Это можно, — сказал Воронцов. — Я подумаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю, — сказал он еще, — что моя семья в руках моего врага, и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.



— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.

В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая внимание всех зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться всё то, что он видел. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет, — не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.

Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слышал его слов, отошел от

него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фэ-этоне в отведенную ему квартиру.

## XI

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю,— сказал Хаджи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди.— Прикажи,— сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустил против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.

— Ты расскажи мне,— сказал Лорис-Меликов,— а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю.

Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.

— Это можно,— сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) всё сначала, не торопясь,— сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.

— Это можно, только много, очень много есть чего

рассказывать. Много дела было, — сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь, — сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?

— Да, с самого начала: где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленный золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать:

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах, — начал он. — Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названный, и Булач-Хан, меньшей, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты всё, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних копей и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса

мысли мои переменялись, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего ж переменялись мысли?— спросил Лорис-Меликов, — не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нет, не понравились, — решительно сказал он и закрыл глаза. — И еще было дело такое, что я захотел принять хазават.

— Какое же дело?

— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, — он был жив еще. Он поглядел на меня «Ты, — говорит, — убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин, и молод и силен, прими хазават. Бог велит».

— Что ж, и ты принял?

— Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ. — Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша поверила и послала Булач-Хана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его, как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Умма-Хан был туп на речи. Он

не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана», — сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове — сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «Ля илляха иль алла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку. А я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

## XII

— А теперь довольно. Молиться надо, — сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего, нагрудного кармана черкески брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы позвонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш,— сказал он, улыбаясь.— Хороший человек.

— Да, хороший, — сказал Лорис-Меликов. — И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду.

— Якши, хорошо, — сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.

Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис-Меликов услышал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке, у окна, сидел кривой, рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома и, скаля белые зубы и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял всё одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он всё Шамиля хвалит, — сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису. — Говорит, Шамиль — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а всё хвалит?

— Ушел, а хвалит, — скаля зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.

— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.

— Кабы не был святой, народ бы не слушал его, — быстро проговорил Гамзало.

— Святой был не Шамиль, а Мансур, — сказал Хан-Магома. — Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и ка-

ялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые, — не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шести и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь, — говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят, — сказал Гамзало.

— Ламорой твой Шамиль, — сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.

«Ламорой» было презрительное название горцев.

— Ламорой — горец. В горах-то живут орлы, — отвечал Гамзало.

— А молодчина! Ловко срезал, — оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.

Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.

— Нехорошо это, — строго сказал Гамзало и вышел из комнаты. Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал спрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.

— Что же, у тебя так денег много?

— Есть, достанет, — подмигивая, отвечал Хан-Магома.

— Ты спроси у него, откуда у него деньги, — сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.

— А выиграл, — быстро заговорил Хан-Магома, он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек, — оскаливая зубы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?

— А вот.

И Хан-Магома указал на пистолет.

— Что же, отдал бы?

— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И готово.

— Что же, и выиграл?

— Айя, собрал все и ушел.

Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи-Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи-Мурат, — думал Лорис-Меликов, — умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и отрывисто прорычал:

— Нет, не скучно.

И так же отвечал на все другие вопросы.

Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здо-



ровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата.

— Пять лет, — отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова. — Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня, — сказал он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова. — Тогда я попросил принять меня братом.

— Что значит: принять братом?

— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовет к себе, — сказал он, возвращаясь.

И, дав еще папироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.

### ХIII

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.

— Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.

— Да, непременно, — сказал Лорис-Меликов. — А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый малый, — прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек, — сказал Хаджи-Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.

— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.

Они помолчали.

— Так говорить дальше?

— Да, да.

— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце, — начал Хаджи-Мурат. — Оставалась мать-ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. Вся Авария покорила Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались, — остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид, — тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — двое. Они убили брата Османа, а я отбил, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.

— Это всё было хорошо, — продолжал он, — потом всё испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пушу его к себе.

— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.

— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен-генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Всё бы было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана казикумыхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Ключену, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту,— сказал Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папаче,— и что это значит, что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан сделал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, подле Моксоха тропка была узкая, направо кручь сажен в пятьдесят, я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая.

И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.

— Служит, и то хорошо,— сказал он.— Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими,— с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат.— И я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных сумках портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Ключену. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Прапорщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком.

Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне, ты — бежал; не знаю, к лучшему ли это или к худшему, потому что не знаю — виноват ли ты или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает; он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться».

Дальше Ключену писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо.

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мой отец, братья и родственники, но что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на...л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо, — сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо, — прочитал Лорис-Меликов. — Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром, запрещает это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить, — я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебя, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал собственно только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза; а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан, *имущество твое будет возвращено*, и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более, что рус-

ские иначе смотрят на всё; в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гимрицам чалму посить и смотрю на их действия как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, *он не раб твоих врагов*, а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Ключегенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.

— Я не поверил этому,— сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо,— и не поехал к Ключегенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я, не переставая, воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было,— закончил свой рассказ Хаджи-Мурат,— но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня всё мое именье. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбил и вышел к Воронцову. Только семья я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу,— сказал Лорис-Меликов.

— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.

Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.

#### XIV

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что, пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками,— единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял: спасите мое семейство и потом дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии,

по его мнению), если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.

Я ему ответил, что всё это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога; что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что всё в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения с своим семейством, постоянные известия о его настоящем положении и о средствах освободить его; что многие лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше

доверие. Он просит отослать его опять в Грозную, с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам — для ручательства в истине высказанных им намерений.

Вы поймете, любезный князь, что всё это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.

Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, идти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней, — будь что будет.

Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Всё, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим кунаком (приятелем), не пачальник этого места, и могли бы



произойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.

Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шущинского уезда, находящимся здесь по делам службы; это истинно достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами,— потому что уже раз обращаться с ним худо, его не легко стеречь,— или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения.

Вот всё, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел».

Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.

И 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю, в числе других дел, и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышев все-таки *parvenu*<sup>1</sup>, главное — за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышеву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Воронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в это утро 1 января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить

---

<sup>1</sup> Выскочка (франц.).

в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгорукого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым, седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош (он гордился тем, что не знал калош) и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движением старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подобострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Чернышев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышева и поздоровался с ним.

— L'empereur? <sup>1</sup>— обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majestè vient de rentrer<sup>2</sup>,— очевидно, с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери и, всем существом своим высказывая почтение к тому месту, в которое он выступал, исчез за дверью.

Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая всё то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.

Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладом министров и высших начальников, была очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По стенам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом кресло Николая, стулья для принимаемых.

Николай, в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов, и подпертые высоким воротником ожиревшие свежесбритые щеки с оставленными правильными колбасиками бакенбард, и прижимаемый к

---

<sup>1</sup> — Император? (франц.).

<sup>2</sup> — Его величество только что вернулись (франц.).

воротнику подбородок придавали его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причина же усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, возбудив в нем своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— *Il y a quelqu'un*<sup>1</sup>,— сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, хорошенькая, белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.

Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помоложе меня,— сказал он окоченевшему от ужаса офицеру,— можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по порт-

---

<sup>1</sup> — Здесь кто-то есть (*франц.*).

ретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и укрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большое, сытое тело и помолившись богу, он прочел обычные, с детства произносимые молитвы: «Богородицу», «Верую», «Отче наш», не приписывая произносимым словам никакого значения,— и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения, в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост и старательная вытяжка и отдавание чести с подчеркнута выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия?— спросил он.

— Полосатов! ваше императорское величество.

— Молодец!

Ученик всё стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество.

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. «Копервейн, Копервейн», — повторял он несколько раз имя вчерашней девицы. «Скверно, скверно». Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия, — сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства. — Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа». И он вспомнил про шурина, прусского короля, и его слабость и глупость и покачал головой.

Подходя назад к крыльцу, он увидел карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять выплывали и выплывали наружу. И он вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волосы на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимались доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сестр Чернышева, Николай усталился на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников; потом было дело о перемещении войск на прусской границе; потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году; потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покусавшемся на жизнь профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на

безмянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз со лба и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.

— Видно, у нас в России один только честный человек, — сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, ваше величество, — сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию, — сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.

После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай посмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48-го года конституцию и потому, выражая шурина самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народа в Пруссии (Николай везде видел готовность к возмущению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нужны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю.

«Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я», — опять подумал он.

— Ну, что еще? — сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа, — сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как, — сказал Николай. — Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды, — сказал Чернышев.



Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества — постепенно, хотя и медленно, подвигаться вперед, вырубая лес, истребляя запасы, то Кавказ давно бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда, — сказал Николай.

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стившая стольких людских жизней, — несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что для того, чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке иступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик, — отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

— Подожди немного, — сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: *«Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз сквозь тысячи человек. Николай»*, — подписал он своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.

— Вот, — сказал он. — Прочти.

Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании, — прибавил Николай.

«Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем», — подумал он.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?

— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами, — сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая. — Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подмстив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю, — сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.

Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланяться генерал-губернатор Западного края, Бибииков. Одобрив принятые Бибииковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— Я делаю это потому, что считаю это нужным, — сказал он. — А рассуждать об этом не позволяю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единственных в то время свободных людей, в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая — значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок лет и которым пользовался. И потому он покорно наклонил свою черную, седеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикува, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили.

Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.

Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Всё это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоящую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей.

После обедни он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и, между прочим, поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку.

Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.

Дождаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный разговор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.

— *La Pologne et le Caucase, ce sont les deux caudères de la Russie,* — сказал Ливен. — *Il nous faut cent mille hommes á peu près dans chacun de ces deux pays*<sup>1</sup>.

Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.

— *Vous dites la Pologne,* — сказал он.

— *Oh, oui, c'était un cour de maître de Maeternich de nous en avoir laissé d'ambarras...*<sup>2</sup>

В этом месте разговора вошла императрица, с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.

За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.

Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно

---

<sup>1</sup> — Польша и Кавказ — это две болячки России. Нам нужно по крайней мере сто тысяч человек в каждой из этих стран (*франц.*).

<sup>2</sup> — Вы говорите, Польша.

— О, да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить нам затруднения... (*франц.*).

приглянулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с бриллиантами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоня лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

## XVI

Во исполнение этого предписания Николая Павловича тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел с небольшими, на спину закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы повертели назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы, умчались в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел

уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь штыков и на блестящие, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что перейденная отрядом быстрая чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, вечно пзмменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.

Впереди пятой роты шел, в черном сюртуке, в папахе и с шашкой через плечо, недавно перешедший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на мало-езженую, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подходить к лесу, когда — не видно было, откуда — с зловещим свистом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю.

— Начинается, — весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, очень дальнзоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению

свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступить. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами. Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.

Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздалась песня. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими, и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом: «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!»

Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Пе-



тербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь всё это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — всё это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев.

«То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды, и уважение и здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.

— Так вот как-с, батюшка,— говорил майор в промежутке песни. — Не так-с, как у вас в Питере: равненье направо, равненье налево. А вот потрудились и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как вознялась заря»,— скомандовал он свою любимую песню.

Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая, белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора,

ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.

Когда пришли в крепость, всё было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить, и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку и едва успел раздеться, как, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.

## XVII

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды

нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями всё с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.

## XVIII

На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видевшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда, старавшихся притвориться облаками.

Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья

Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.

Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидел в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игрневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру.

— Это воинский начальник дом?— спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

— Этот самый,— сказал Бутлер.

— А это кто же?— спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.

— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник,— сказал офицер.

Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидеть его здесь, в этом маленьком укреплении.

Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него.

— Здравствуйте, кошкольды,— сказал он выученное им приветствие по-татарски.

— Сабул,— ответил Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.

— Начальник?— сказал он.

— Нет, начальник здесь, пойду позову его,— сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь.

Но дверь «парадного крыльца», как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрежала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.

— Куда денщики подевались?— сказал Бутлер.

— Пьянствовать ушли,— сказала Марья Дмитриевна.— Да вам что?

— Дверь отпереть; у вас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.

— Еще выдумайте что-нибудь,— сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь.

— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.

— Да неужели вправду?— сказала Марья Дмитриевна.

— Что ж мне вам выдумывать. Подите посмотрите, они у крыльца стоят.

— Вот так оказия,— сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе.— Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича,— сказала она.

— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди отпри,— сказал Бутлер.

— Ну, и то хорошо,— сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.

Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной, несколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему «этого черта». Одевшись, он потребовал от ден-

щика «лекарства». И денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему.

— Нет хуже смеси,— проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом.— Вот вчера выпил чихиря, и болит голова. Ну, теперь готов,— закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджи-Мурата и сопровождающего его офицера.

Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе, как с конвоем казаков.

Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджи-Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Мурате и сказал;

— Якши, бек-якши. Пускай живет. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что приказано, то свято. А поместим его — как думаешь, Бутлер?— поместим в канцелярии?

Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу:

— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим да кладовую. По крайней мере, на глазах будет,— сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась.

— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права,— сказал Бутлер.

— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать,— хмурясь сказал Иван Матвеевич.

Во всё время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему всё равно, где жить. Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношения с горцами, и потому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты, сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения.

Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями.

С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства, дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать.

Известия, передаваемые ему лазутчиками, были хороши. В продолжение четырех дней, которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.

## ХІХ

Семья Хаджи-Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины — старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида, сын же Хаджи-Мурата, восемнадцатилетний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажени, яме, вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими так же, как и он, решения своей участи.

Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских.

6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено, по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил

было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты.

Был полдень, когда Шамиль, окруженный партней мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих «Ля илляха иль алла», подъехал к своему месту пребывания.

Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводья при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра: тонко выделанная, с дорожкой посередине, красная ременная уздечка, металлические, стаканчиками, стремяна и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках, и икры обтянуты черными ноговицами, обшитыми простым шнурком.

Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат — мать Хаджи-Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она, так



же как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.

Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучился, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя всё одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гарцевали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели: «Ля илляха иль алла».

Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился сераль Шампля. Два вооруженные лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так всё время, пока Шамиль проезжал двор от одних, внешних, ворот до других, внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди ожидавших его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи своего помещения при въезде в ворота налево.

После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайšie к русским, уже готовы перейти к ним, — всё это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих, восемнадцатилетней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.

Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него самого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.

Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джемал-Эдин, и, помолившись богу, стал спрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.

В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина,— Джемал-Эдин сообщил о том, что Хаджи-Мурат выслал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его.

Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его Зайдет, Шамиль пошел в кунацкую.

Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без чалм, в высоких папах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они, так же как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лицо руками, опуская их по бородам и соединяя одну с другою. Окончив

это, все сели, Шамиль посредине на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.

Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шарияту: двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемал-Эдином было составлено следующее провозглашение:

«Желаю вам вечный мир с Богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, Бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским».

Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.

После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, но знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья, и главное его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.

Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк.

Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:

— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.

— Он здесь,— сказал Джемал-Эдин.

И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но всё еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.

Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего, или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу, он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Я, имам.

— Ты знаешь, что он сделал?

— Знаю, имам, и жалею об этом.

— Умеешь писать?

— Я готовился быть муллой.

— Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь до байрама, я прощу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то,— Шамиль грозно нахмурился,— я отдам твою бабуку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа, он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— Напиши так и отдай моему посланному.

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.

— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.

Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму.

В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.

## XX

Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух — Ханефи и Элдара) и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидеть его и угодить ему. Она принимала также самое живое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчика допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.

Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат, очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджи-Мурата, Элдар встречал Бутлера, радостно оскаливая

свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем.

Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названным братом Хаджи-Мурата. Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи-Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.

Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сближением с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такую же, как и эти люди, жизнью.

В день съезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола — с водкой, чихирем и закуской, когда Хаджи-Мурат, одетый по-дорожному и

в оружии, быстрыми, мягкими шагами вошел, хромя, в комнату.

Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петроковский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.

— Айя,— сказал он.

— Он говорит, что да,— отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

Хаджи-Мурат что-то ответил.

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?

Хаджи-Мурат нахмурился.

— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются,— сказал он, взглянув на Марию Дмитриевну.

— Что же ему не понравилось?

— У нас пословица есть,— сказал он переводчику,— угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном,— оба голодные остались.— Он улыбнулся.— Всякому народу свой обычай хорош.

Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.

— Что ж? Сливок? Булку?— сказала Мария Дмитриевна, подавая ему.

Хаджи-Мурат наклонил голову.

— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену.— Когда увидимся?

— Прощай! прощай,— улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат.— Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время — айда пошел,— сказал он, потряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать.

В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи-Мурат помянул его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и шашку.

Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:

— Он говорит: ты похвалила бурку, возьми.

— Зачем это?— сказала Марья Дмитриевна, покраснев.

— Так надо. Адат так,— сказал Хаджи-Мурат.

— Ну, благодарю,— сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку.— Дай бог вам сына выручить. Улан якши,— прибавила она.— Переведите ему, что желаю ему семью выручить.

Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику:

— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.

Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили: что эта была настоящая гурда.

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.

Жители кумыцкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знамени того наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство умирило горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.

Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому



Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-Хан.

Увидав Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то потатарски крикнул.

Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.

— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость!— сказал он, узнав в чем дело.— Нехорошо это, брат. В поле две воли, а что же у меня резню такую затевать.

Арслан-Хан, маленький человек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.

— За что он его убить хотел?— спросил Бутлер через переводчика.

— Он говорит, что такой у нас закон,— передал переводчик слова Хаджи-Мурата.— Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.

— Ну, а если он догонит его дорогой?— спросил Бутлер.

Хаджи-Мурат улыбнулся.

— Что ж,— убьет, значит, так алла хочет. Ну, прощай,— сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.

— Прощай, матушка,— сказал он, обращаясь к ней,— спасибо.

— Дай бог, дай бог семью выручить,— повторила Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.

— Смотри, не забудь кунака,— сказал Бутлер.

— Скажи, что я верный друг ему, никогда не забуду,— ответил он через переводчика и, несмотря на свою

кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, оправив шашку, ощутив привычным движением пистолет, с тем особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюршидом.

Как всегда, начались толки об уехавшем.

— Молодчина!

— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.

— А надует он. Плут большой должен быть,— сказал Петроковский.

— Дай бог, чтобы побольше русских таких плутов было,— вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна.— Неделю у нас прожил, кроме хорошего, ничего от него не видали,— сказала она.— Обходительный, умный, справедливый.

— Почему вы это всё узнали?

— Стало быть, узнала.

— Втюрилась, а?— сказал вошедший Иван Матвеевич.— Уж это как есть.

— Ну и втюрилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.

— Правда, Марья Дмитриевна,— сказал Бутлер.— Молодец, что заступились.

## XXI

Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.

Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную со-

брал отряд с тем, чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.

Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Бярятинского с Марьей Васильевной, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большею частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того, чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принятые в высшее общество офицеры.

В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Бярятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Бярятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.

Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Всё напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Бярятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцовы. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело

болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дело дошло до жаркого и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:

— Осрамится наш «как».

— А что?

— Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?

— Да, брат, это не то, что под пулями завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные господа, Право, жалко смотреть на него,— говорили между собою офицеры.

Но вот наступила торжественная минута. Бярятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Бярятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:

— По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры,— сказал он.— Но считайте меня всегда, как, с вами... Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому всё, чем я на службе моей, как, награжден, всё, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и, как, добрым именем — всем всем, решительно, как...— здесь голос его задрожал,— я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои!— И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза.— От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность...

Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Всё это ему чрезвычайно нравилось. Потом начались тосты за Бярятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.

Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер

в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелок, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.

И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав всё жалование, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он придет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, «и всё бы было хорошо», — думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.

Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, за чем он отпускал его.

На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем

владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему займы пятьсот рублей.

— Я бы дал,— сказал Иван Матвеевич,— сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркитанта, нет ли?

Но у маркитанта нечего было и пробовать занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.

## XXII

Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда придет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.

Для Воронцова, для петербургских властей, так же как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех, и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля.

Но оказалось, что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьей к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за вырчку семьи.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца.

В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.

Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на всё желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенный статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.

— Якши,— сердито сказал Хаджи-Мурат.

Чиновник Кириллов не понравился ему.

— А деньги привез?

— Привез,— сказал Кириллов.

— За две недели теперь,— сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре.— Давай.

— Сейчас дадим,— сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки.— И на что ему деньги?— сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито

взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своему князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.

— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.

И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги.

Когда Кириллов вынул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плечи и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.

— Что с ним станешь делать, — сказал пристав. — Пырнет кинжалом, вот и всё. С этими чертами не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает.

Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата не радостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будет помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:

— Идите.

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст бог. Идите.



Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.

«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему?— думал Хаджи-Мурат.— Он лисица — обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне»,— думал Хаджи-Мурат.

И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети,— сказали они,— туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.

«Так заклюют и меня»,— думал Хаджи-Мурат.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно»,— думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.

«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».

Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.

### XXIII

К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем,— Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и шелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.

Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой

месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услышав скрип двери, поднялся, оглянувшись на Хаджи-Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.

— Зашей и эти,— сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.

Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.

— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко,— сказал Хаджи-Мурат.

— Порох есть, пули есть. Будет готово,— сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное.

Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.

Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масляные тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.

Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услышал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.

В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидел птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выключают глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль алла» — и пронзительно завизжал. Потом всё затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.

Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.

Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того, чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.

Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было, — было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.

Песня была такая:

«Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит».

Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Му-

рата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунчала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.

Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такую сморщенной, седой и с решеткой зубов, какую он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.

И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, когда он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий, юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные силь-

ные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.

— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабу, — сказал Хаджи-Мурат.

И Хаджи-Мурат помнил то выражение молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабушке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видел ни жены, ни матери, ни сына.

И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.

Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромя, быстро подошел к двери, и отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.

— Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней, — сказал он.

## XXIV

Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще вином. Он пил всё больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его.

В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Бярятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две

роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угащивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших.

Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледносерый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню: «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-рататай, в прошедшие годы».

Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом военную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.

— Вы куда?— спросил он.

— Да своего старика проведать,— дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергла ухаживанье Бутлера, но ей неприятно было, что он всё последнее время сторонился ее.

— Что же его проведывать, придет.

— Да придет ли?

— А не придет — принесут.

— То-то, нехорошо ведь это,— сказала Марья Дмитриевна.— Так не ходить?

— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.

Марья Дмитриевна повернулась и пошла рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и со-

бирался сказать ей, что она всё так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так, молча, они совсем уже подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.

— Это кого бог несет?— сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.

Месяц светил взад приезжому, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.

— Петр Николаевич, вы?— обратилась к нему Марья Дмитриевна.

— Я самый,— сказал Каменев.— А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?

— А вот слышите,— сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни.— Кутят.

— Это что же, ваши кутят?

— Нет, пришли из Хасав-Юрта, вот и угощаются.

— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуту.

— Что же, дело есть?— спросил Бутлер.

— Есть маленькое дельце.

— Хорошее или дурное?

— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого скверное,— и Каменев засмеялся.

В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

— Чихирев!— крикнул Каменев казаку.— Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку,— сказал Каменев, слезая с лошади.

Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь?— обратился он к Марье Дмитриевне.

— Чего же бояться,— сказала Марья Дмитриевна.

— Вот она,— сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца.— Узнаете?

Эта была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженной бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.

— Как же это? Кто его убил? Где?— спросил он.

— Удрать хотел, поймали,— сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером.

— И молодцом умер,— сказал Каменев.

— Да как же это всё случилось?

— А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я всё подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

— А я к вам,— сказал Каменев,— Хаджи-Мурата голову привез.

— Врешь! Убили?

— Да, бежать хотел.

— Я говорил, что надует. Так где же она? Голова-то? Покажи-ка.

Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

— А все-таки молодчина был,— сказал он.— Дай я его поцелую.

— Да, правда, лихая была голова,— сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.



— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.

— Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил, — кричал Иван Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.

— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.

— Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право, — сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть, — сказал Бутлер, не зная, что говорить. — На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и всё. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право, — повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.

Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было всё дело.

И Каменев рассказал.

Дело было вот как.

## XXV

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25 апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слышал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русский малый, Назаров. Он был старший в бедной старо-

обрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие, — ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним: Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик, — тот самый, который продал порох Гамзале; Игнатов, отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик, кваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги.

Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел прѣздом, так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним, — сказал Ферапонтов. — Кабы в ту пору, как он не мирной был, ссадил бы его.

— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своем перегоню, — сказал Назаров.

— Как же, перегонишь, — сказал Ферапонтов.

Хаджи-Мурат всё прибавлял хода.

— Эй, кунак, нельзя так. Потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же прѣздом, не уменьшая хода.

— Смотри, задумали что, черти, — сказал Игнатов. — Вишь, лупят.

Так прошли с версту по направлению к горам.

— Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.

Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с прѣзда перешел на скак.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стремянах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадыю, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скачком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротке должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца.

— Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.

— Что ж это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь. — Бей их, ребята, — проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.

Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее носившей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко вперед, и горцы не могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с ло-

шади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба, всхлипывая, умирал.

— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата. — Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелась сакли и минарет аула Беларджика, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясиину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было всё равномерно залито и теперь пропитано

водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи, и пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они всё еще не доехали до реки. Влево был островок с распутившимися листиками кустов, и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробить до ночи.

Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидел такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими милиционерами.

«Что ж, будем биться, как Гамзат», — подумал Хаджи-Мурат.

После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик татарин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверив-

шись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата, живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними.

Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал:

— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, шелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но все более и более отдалялись от них и стреляли только издали, наобум.

Так продолжалось более часу. Солнце взошло в пол-дерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага Мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага так же, как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но так же, как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

— В шашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и слышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебежать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел: «Ля илляха иль алла» и, не торопясь, стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высываясь из-за завала. Волосатый Ханефи, с засученными рукавами, и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.

— Бросимся в шашки, — в третий раз говорил Элдар.

Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараньи, прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот, с выдающеюся, как у детей, верхней губой, дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем всё пел, медленно заряжая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались всё ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, загкнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунчал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова, с его хитрым белым лицом, и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Всё это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбежавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь



чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Курбана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять зацелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

## ЗА ЧТО?

*Рассказ из времен польских восстаний*

### I

В 1830 году, весной, к пану Ячевскому в его родовое имение Рожанку приехал единственный сын его умершего друга, молодой Иосиф Мигурский. Ячевский был шестидесятипятилетний, широколобый, широкоплечий, широкогрудый старик, с длинными белыми усами на кирпично-красном лице, патриот времен второго раздела Польши. Он юношей вместе с Мигурским-отцом служил под знаменами Костюшки и всеми силами своей патриотической души ненавидел апокалипсическую, как он называл ее, блудницу Екатерину II и изменника, мерзкого ее любовника Понятовского, и так же верил в восстановление Речи Посполитой, как верил ночью, что к утру опять взойдет солнце. В 12-м году он командовал полком в войсках Наполеона, которого он обожал. Погибель Наполеона огорчила его, но он не отчаивался в восстановлении хотя и искалеченного, но все-таки царства Польского. Открытие сейма в Варшаве Александром I оживило его надежды, но священный Союз, реакция во всей Европе, самодурство Константина отдаляли осуществление заветного желания. С 25-го года Ячевский поселился в деревне и безвыездно жил в своей Рожанке, занимая время хозяйством, охотой и чтением газет и пи-

сем, посредством которых он все-таки горячо следил за политическими событиями в своем отечестве. Он был женат вторым браком на бедной красивой шляхтянке, и брак этот был несчастлив. Он не любил и не уважал этой своей второй жены, тяготился ею, дурно, грубо обращался с нею, как будто вымещая на ней свою ошибку второго брака. Детей от второй жены не было. От первой же жены было две дочери: старшая, Ванда, величавая красавица, знавшая цену своей красоты и скучавшая в деревне, и меньшая, Альбина, любимица отца, живая, костлявая девочка, с вьющимися белокуроыми волосами и широко, как у отца, расставленными большими, блестящими голубыми глазами.

Альбине было пятнадцать лет, когда приехал Иосиф Мигурский. Мигурский и прежде, студентом, бывал у Ячевских в Вильно, где они жили по зимам, и ухаживал за Вандой, теперь же в первый раз уже вполне взрослым, свободным человеком приехал к ним в деревню. Приезд молодого Мигурского был приятен всем жителям Рожанки. Старику Иозё Мигурский был приятен тем, что напоминал ему друга, его отца, в то время, как они оба были молоды, и еще тем, что с жаром и самыми розовыми надеждами рассказывал о революционном брожении не только в Польше, но и за границей, откуда он только что приехал. Пани Ячевской он был приятен тем, что при гостях старик Ячевский сдерживался и не обранил ее за всё как обыкновенно. Ванде он был приятен потому, что она была уверена, что Мигурский приехал для нее и намеревается ей сделать предложение; она готовилась дать ему согласие, но намеревалась, как она сама с собой говорила: *lui tenir la dragée haute*<sup>1</sup>. Альбина была рада тому, что все были рады. Не одна Ванда была уверена в том, что Мигурский приехал с намерением сделать ей предложение. Это думали все в доме, от старика Ячевского до няни Лудвики, хотя никто и не говорил этого.

И это была правда. Мигурский приехал с этим намерением, но, пробыв неделю, он, чем-то смущенный и расстроенный, уехал, не сделав предложения. Все были удивлены этим неожиданным отъездом, и никто, кроме

---

<sup>1</sup> Помучить его, чтоб он это оценил (*франц.*).

Альбины, не понимал его причины. Альбина знала, что причиной этого странного отъезда была она. Во всё время пребывания его в Рожанке она замечала, что Мигурский был особенно возбужден и весел только с нею. Он обращался с ней, как с ребенком, шутил с ней, дразнил ее, но она женским чутьем чуяла, что в этом обращении с ней было не отношение взрослого к ребенку, а мужчины к женщине. Она видела это в том любующемся взгляде и ласковой улыбке, с которыми он встречал ее, когда она входила в комнату, и провожал, когда она выходила. Она не отдавала себе ясного отчета о том, что такое это было, но это его отношение к ней веселило ее, и она невольно старалась делать то, что нравилось ему. Нравилось же ему всё, что она бы ни делала. И потому она в его присутствии с особенным возбуждением делала всё, что делала. Ему нравилось, как она наперегонки бегала с прекрасным хортым (борзая собака), прыгавшим на нее и лизавшим ее в покрасневшее сияющее лицо; нравилось, как она при малейшем поводе заливалась заразительно звонким смехом; нравилось, как она, продолжая весело смеяться глазами, принимала серьезный вид при скучной проповеди ксендза; нравилось, как с необыкновенной верностью и комизмом представляла то старую няню, то пьяного соседа, то его самого, Мигурского, мгновенно переходя от изображения одного к изображению другого. Нравилась, главное, ее восторженная жизнерадостность, точно как будто она только что сейчас узнала вполне всю прелесть жизни и спешила воспользоваться ею. Ему нравилась эта особенная ее жизнерадостность, а жизнерадостность эта возбуждалась и усиливалась именно тем, что она знала, что эта жизнерадостность восхищает его. И потому одна Альбина знала, отчего Мигурский, приехав, чтобы сделать предложение Ванде, уехал, не сделав его. Хотя она никому не решилась бы сказать этого, не говорила этого ясно и сама себе, она в глубине души знала, что он хотел полюбить сестру и полюбил ее, Альбину. Альбина очень удивлялась этому, считая себя вполне ничтожной в сравнении с умной, образованной, красавицей Вандой, но не могла не знать, что это так, и не могла не радоваться этому, потому что сама всеми силами своей души полюбила Мигурского, полюбила так, как любят только в первый раз и только один раз в жизни.

## II

В конце лета газеты принесли известие о парижской революции. Вслед за этим стали приходить известия о готовящихся беспорядках в Варшаве. Ячевский со страхом и надеждой ожидал с каждой почтой известия об убийстве Константина и начале революции. Наконец в ноябре получили в Рожанке сначала весть о нападении на бельведер, о бегстве Константина Павловича, потом о том, что сейм объявил династию Романовых лишеной польского престола, что Хлопицкий объявлен диктатором и польский народ опять свободен.

Восстание не дошло еще до Рожанки, но все обитатели ее следили за ходом его, ожидали его у себя и готовились к нему. Старик Ячевский переписывался с старым знакомым, одним из главарей восстания, принимал таинственных евреев-факторов не по хозяйственным, а по революционным делам и готовился присоединиться к восстанию, когда настанет время. Пани Ячевская не только как всегда, но еще более, чем всегда, заботилась о материальных удобствах мужа и, как всегда, этим самым всё больше и больше раздражала его. Ванда отослала свои бриллианты подруге в Варшаву с тем, чтобы вырученные деньги отдать в революционный комитет. Альбина интересовалась только тем, что делает Мигурский. Через отца она знала, что он поступил в отряд Дверницкого, и старалась узнать всё то, что касалось этого отряда. Мигурский писал два раза: один раз извещал о том, что он поступил в войска, другой раз, в половине февраля, писал восторженное письмо о победе поляков при Стоचेке, где взяли шесть русских орудий и пленных.

«Zwyciestwo polaków i kleska moskalil Wiwat!»<sup>1</sup> — заканчивал он письмо. Альбина была в восторге. Она рассматривала карту, рассчитывала, где и когда должны быть окончательно побеждены москали, и бледнела и дрожала, когда отец медленно распечатывал привезенные с почты пакеты. Один раз мачеха, зайдя в ее комнату, застала ее перед зеркалом в панталонах и конфедератке. Альбина готовилась в мужском платье бежать из дому, чтобы присоединиться к польскому войс-

---

<sup>1</sup> «Да здравствуют поляки, гибель москалям! Ура!» (польск.).

ку. Мачеха сказала отцу. Отец призвал дочь к себе и, скрывая свое сочувствие ей, даже восхищение перед ней, сделал ей строгий выговор, требуя, чтобы она выбросила из головы глупые мысли об участии в войне. «У женщин есть другое дело: любить и утешать тех, которые жертвуют собой за отчизну», — сказал он ей. Теперь она нужна ему, составляя его радость и утешение, а придет время, она так же нужна будет мужу. Он знал, чем подействовать на нее. Он намекнул ей на то, что он одинок и несчастен, и поцеловал ее. Она прижалась к нему лицом, скрывая слезы, которые все-таки намочили рукав его халата, и обещала ему ничего не предпринимать без его согласия.

### III

Только люди, испытавшие то, что испытали поляки после раздела Польши и подчинения одной части ее власти ненавистных немцев, другой — власти еще более ненавистных москалей, могут понять тот восторг, который испытывали поляки в 30-м и 31-м году, когда после прежних несчастных попыток освобождения новая надежда освобождения казалась осуществимой. Но надежда эта продолжалась недолго. Силы были слишком несоизмеримы, и революция опять была задавлена. Опять бессмысленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в Польшу и под начальством то Дибича, то Паскевича и высшего распорядителя Николая I, сами не зная, зачем они делают это, пропитав землю кровью своей и своих братьев поляков, задавили их и отдали опять во власть слабых и ничтожных людей, не желающих ни свободы, ни подавления поляков, а только одного: удовлетворения своего корыстолюбия и ребяческого тщеславия.

Варшава была взята, отдельные отряды разбиты. Сотни, тысячи людей были расстреляны, забиты палками, сосланы. В числе сосланных был молодой Мигурский. Имение его было конфисковано, а сам он определен солдатом в линейный батальон в Уральск.

Ячевские жили зиму 1832 года в Вильне для здоровья старика, после 31-го года страдавшего болезнью сердца. Здесь пришло к ним письмо от Мигурского из крепости. Он писал, что, как ни тяжело для него было то, что он

перенес и что предстоит ему, он рад тому, что ему пришлось пострадать за отчизну, что он не отчаивается в том святом деле, за которое он отдал часть своей жизни и готов отдать остаток ее, и что если бы завтра явилась новая возможность, он поступил бы так же. Читая письмо вслух, старик зарыдал на этом месте и долго не мог продолжать. В остальной части письма, которую вслух прочла Ванда, Мигурский писал, что *какие бы ни были его желанья и мечты* в тот последний его приезд, который останется вечно самой светлой точкой во всей его жизни, он теперь и не может и не хочет говорить про них.

Ванда и Альбина поняли каждая по-своему значение этих слов, но никому не объяснили того, как они поняли их. В конце письма Мигурский посылал приветствие всем и, между прочим, с тем же игривым тоном, с которым он обращался с Альбиной во время своего приезда, обращался к ней в письме, спрашивая ее, так же ли она быстро бегаёт, перегоняя хортых, и так ли хорошо передразнивает всех. Он желал здоровья старику, успеха в хозяйственных делах матери, достойного мужа Ванде и продолжения той же жизнерадостности Альбине.

#### IV

Здоровье старика Ячевского шло всё хуже и хуже, и в 1833 году вся семья переехала за границу. Ванда встретила в Бадене богатого польского эмигранта и вышла за него замуж. Болезнь старика быстро ухудшалась, и в начале 1833 года он умер за границей на руках Альбины. Жёну он не допускал ходить за собой и до последней минуты не мог простить ей той ошибки, которую он сделал, женившись на ней. Пани Ячевская вернулась с Альбиной в деревню. Главный интерес жизни Альбины был Мигурский. В ее глазах это был величайший герой и мученик, служению которому она решила посвятить свою жизнь. Еще до отъезда за границу она начала переписываться с ним, сначала по поручению отца, потом от себя. После смерти отца она, вернувшись в Россию, продолжала переписываться с ним, а когда ей минуло восемнадцать лет, объявила мачехе, что она решила ехать в Уральск к Мигурскому, с тем чтобы выйти там за него замуж. Мачеха стала упрекать Мигурского за то, что он эгоистически хочет облегчить свое тяжелое

положение тем, чтобы, увлекши богатую девушку, заставить ее разделить его несчастье. Альбина рассердилась и объявила мачехе, что только она одна может приписывать такие подлые мысли человеку, пожертвовавшему всем для своего народа, что Мигурский, напротив, отказывался от той помощи, которую она предлагала ему, и что она бесповоротно решила ехать к нему и выйти за него замуж, если он только захочет дать ей это счастье. Альбина была совершеннолетняя, и деньги у нее были, те тридцать тысяч злотых, которые покойник дядя оставил двум племянницам. Так что ничего не могло задержать ее.

В ноябре 1833 года Альбина простилась с домашними, как на смерть, со слезами провожавшими ее в дальний, неведомый край варварской Московии, села с старой, преданной няней Лудвикой, которую она брала с собой, в отцовский, вновь исправленный для дальней дороги возок и пустилась в дальнюю дорогу.

## V

Мигурский жил не в казармах, а на своей отдельной квартире. Николай Павлович требовал, чтобы разжалованные поляки не только несли всю тяжесть суровой солдатской жизни, но и терпели все те унижения, которым подвергались в это время рядовые солдаты; но большинство тех простых людей, которые должны были исполнять эти его распоряжения, понимали всю тяжесть положения этих разжалованных и, несмотря на опасность неисполнения его воли, где могли, не исполняли ее. Полуграмотный выслужившийся из солдат командир того батальона, в который был зачислен Мигурский, понимал положение бывшего богатого, образованного молодого человека, лишившегося всего, жалел его и уважал и делал ему всякого рода послабления. И Мигурский не мог не оценить добродушия подполковника с белыми бакенбардами на одутловатом солдатском лице и, чтобы отплатить ему, согласился учить его сыновей, готовящихся в корпус, математике и французскому языку.

Жизнь Мигурского в Уральске, тянувшаяся уже седьмой месяц, была не только однообразная, унылая и скучная, но и тяжелая. Знакомств, кроме батальонного ко-

мандира, с которым он старался держаться как можно дальше, у него был только один сосланный поляк, мало образованный и проницательный, неприятный человек, занимавшийся здесь торговлей рыбой. Главная же тяжесть жизни Мигурского состояла в том, что ему трудно было привыкать к нужде. Средств у него после конфискации его имения не было никаких, и он перебивался продажей золотых вещей, которые у него остались.

Единственная и большая радость его жизни после его ссылки была переписка с Альбиной, поэтическое, милое представление о которой со времени посещения им Рожанки осталось у него в душе и становилось теперь в изгнании всё прекраснее и прекраснее. В одном из первых писем своих она, между прочим, спрашивала его, что значат слова его давнишнего письма: «какие бы ни были мои желания и мечты». Он отвечал ей, что теперь он может признаться ей, что мечты его были о том, чтобы назвать ее своей женой. Она ответила ему, что любит его. Он ответил, что лучше бы она не писала этого, потому что ему ужасно думать о том, что могло бы быть и теперь невозможно. Она ответила, что это не только возможно, но что это непременно будет. Он отвечал ей, что не может принять ее жертвы, что в теперешнем положении его это невозможно. Вскоре после этого своего письма он получил повестку на две тысячи злотых. По штемпелю конверта и почерку он узнал, что это было прислано от Альбины, и вспомнил, что в одном из первых писем в шуточном тоне он описывал ей то удовольствие, которое он испытывает теперь, уроками зарабатывая всё, что ему нужно, — денег на чай, табак и даже книги. Переложив деньги в другой конверт, он отослал их назад с письмом, в котором он просил ее не портить их святых отношений деньгами. У него всего было довольно, писал он, и он вполне счастлив, зная, что имеет такого друга, как она. На этом остановилась их переписка.

В ноябре Мигурский сидел у подполковника, давая урок мальчикам, когда послышался звук приближающегося почтового колокольца и заскрипели по морозному снегу полозья саней и остановились у подъезда. Дети вскочили, чтобы узнать, кто приехал. Мигурский остался в комнате, глядя на дверь и ожидая возвращения детей, но в дверь вошла сама подполковница.



— А к вам, пан, какие-то барыни приехали, вас спрашивают,— сказала она.— Должно, с вашей стороны, похоже — полячки.

Если бы Мигурского спросили, считает ли он возможным приезд к нему Альбины, он бы сказал, что это немислимо; в глубине же души он ждал ее. Кровь прилила к сердцу, и он, задыхаясь, выбежал в переднюю. В передней развязывала платок на голове толстая рябая женщина. Другая женщина входила в дверь квартиры полковника. Услыхав за собой шаги, она оглянулась. Из-под капора сияли жизнерадостные, широко расставленные, блестящие голубые глаза с заиндедевскими ресницами Альбины. Он остолбенел и не знал, как встретить ее, как здороваться. «Юзё!» — вскрикнула она, называя его так, как называл его отец и как сама с собой она называла его, обхватила руками его шею, прильнула к его лицу своим зардевшимся холодным лицом и засмеялась и заплакала.

Узнав, кто такая Альбина и зачем она приехала, добрая полковница приняла ее и поместила до свадьбы у себя.

## VI

Добродушный подполковник выхлопотал разрешение высшего начальства. Из Оренбурга выписали ксендза и обвенчали Мигурских. Жена батальонного командира была посаженной матерью, один из учеников нес образ, а Бржозовский, сосланный поляк, был шафером.

Альбина, как ни странно это может казаться, страстно любила своего мужа, но совсем не знала его. Она теперь только знакомилась с ним. Само собой разумеется, что она нашла в живом человеке с плотью и кровью много такого обыденного и непоэтического, чего не было в том образе, который она носила и растила в своем воображении, но зато, именно потому, что это был человек с плотью и кровью, она нашла в нем много такого простого, хорошего, чего не было в том, отвлеченном образе. Она слышала от знакомых и друзей про его храбрость на войне и знала про его мужество при потере состояния и свободы, и представляла себе его героем, всегда живущим возвышенной героической жизнью; в действительности же с своей необыкновенной физической силой и храбростью он оказался кротким, смиренным ягненком,

самым простым человеком, с добродушными шутками, с той самой детской улыбкой чувственного рта, окруженного белокурой бородкой и усами, которая прельстила ее еще в Рожанке, и с неугасаемой трубкой, которая была ей особенно тяжела во время беременности.

Мигурский тоже только теперь узнал Альбину и в Альбине в первый раз узнал женщину. По тем женщинам, которых он знал до женитьбы, он не мог знать женщину. И то, что узнал в Альбине, как в женщине вообще, удивило его и скорее могло бы разочаровать его в женщине вообще, если бы он не чувствовал к Альбине как к Альбине особенно нежного и благодарного чувства. К Альбине как к женщине вообще он чувствовал ласковое, несколько ироническое снисхождение, к Альбине же как к Альбине — не только нежную любовь, но и восхищение и сознание неоплатного долга за ее жертву, давшую ему незаслуженное счастье.

Мигурские были счастливы тем, что, направив всю силу своей любви друг на друга, они испытывали среди чужих людей чувство двух заблудившихся зимой замерзающих и отогревающих друг друга. Радостной жизни Мигурских содействовало и участие в их жизни рабски-самоотверженно преданной своей панюсе, добродушно-ворчливой, комической, влюбляющейся во всех мужчин няни Лудвики. Мигурские были счастливы и детьми. Через год родился мальчик. Через полтора года — девочка. Мальчик был повторение матери: те же глаза и та же резвость и грация. Девочка была здоровый красивый зверок.

Несчастливы же Мигурские были удалением от родины и, главное, тяжестью своего непривычно униженного положения. Особенно страдала за это унижение Альбина. Он, ее Юзё, герой, идеал человека, должен был вытягиваться перед всяким офицером, делать ружейные приемы, ходить в караул и безропотно повиноваться.

Кроме того, известия из Польши получались самые печальные. Почти все близкие родные, друзья были или сосланы, или, лишившись всего, бежали за границу. Для самих же Мигурских не предвиделось какого-либо конца этому положению. Все попытки ходатайствовать о прощении или хотя бы об улучшении положения, о производстве в офицеры не достигали цели. Николай Павлович делал смотры, парады, учения, ходил по маска-

радам, заигрывал с масками, скакал без надобности по России из Чугуева в Новороссийск, Петербург и Москву, пугая народ и загоняя лошадей, и когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи ссыльных декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви к отечеству, которая им же восхвалялась, он, выпячивая грудь, останавливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: «Пускай служат. Рано». Как будто он знал, когда будет не рано, а когда будет время. И все приближенные: генералы, камергеры и их жены, кормившиеся около него, умилялись перед необычайной прозорливостью и мудростью этого великого человека.

В общем все-таки в жизни Мигурских было больше счастья, чем несчастья.

Так прожили они пять лет. Но вдруг обрушилось на них неожиданное, страшное горе. Заболела сначала девочка, через два дня заболел мальчик: горел три дня и без помощи врачей (никого нельзя было найти) на четвертый день умер. Через два дня после него умерла и девочка.

Альбина не утопилась в Урале только потому, что не могла без ужаса представить себе положение мужа при известии об ее самоубийстве. Но жить ей было трудно. Всегда прежде деятельная и заботливая, она теперь, предоставив все свои заботы Лудвике, сидела часами без дела, молча глядя на то, что попадалось под глаза, а то вдруг вскакивала и убегала в свою каморку и там, не отвечая на утешение мужа и Лудвики, тихо плакала, только качая головой, прося их уйти и оставить ее одну.

Летом она уходила на могилу детей и там сидела, раздирая себе сердце воспоминаниями о том, что было и что могло бы быть. Особенно мучила ее мысль о том, что дети могли бы остаться живы, если бы они жили в городе, где могла бы быть подана медицинская помощь. «За что? за что? — думала она. — И Юзё и я — мы ничего ни от кого не хотим, кроме того, чтоб ему жить так, как он родился, и жили его деды и прадеды, а мне только — чтобы жить с ним, любить его, любить моих крошек, воспитать их». «И вдруг его мучают, ссылают, а у меня отнимают то, что мне дороже света. Зачем? За что?» — задавала она этот вопрос людям и богу. И не могла представить себе возможности какого-нибудь ответа.

А без этого ответа не было жизни. И жизнь ее остановилась. Бедная жизнь в изгнании, которую она прежде умела украшать своим женским вкусом и изяществом, стала теперь невыносима не только ей, но и Мигурскому, страдавшему за нее и не знавшему, чем помочь ей.

## VII

В это самое тяжелое для Мигурского время прибыл в Уральск поляк Росоловский, замешанный в грандиозном плане возмущения и побега, устроенного в то время в Сибири сосланным ксендзом Сироцинским.

Росоловский, так же как и Мигурский, как же как и тысячи людей, наказанных ссылкой в Сибирь за то, что они хотели быть тем, чем родились, — поляками, был замешан в этом деле, наказан за это розгами и отдан в солдаты в тот же батальон, где был Мигурский. Росоловский, бывший учитель математики, был длинный, сутуловатый, худой человек, с впалыми щеками и нахмуренным лбом.

В первый же вечер своего пребывания Росоловский, сидя за чаем у Мигурских, стал, естественно, рассказывать своим медленным, спокойным басом про то дело, за которое он так жестоко пострадал. Дело состояло в том, что Сироцинский организовал по всей Сибири тайное общество, цель которого состояла в том, чтобы с помощью поляков, зачисленных в казачьи и линейные полки, взбунтовать солдат и каторжных, поднять поселенцев, захватить в Омске артиллерию и всех освободить.

— Да разве это было возможно? — спросил Мигурский.

— Очень возможно, всё было готово, — сказал Росоловский, мрачно хмурясь, и медленно, спокойно рассказал весь план освобождения и все принятые меры для успеха дела и, в случае неуспеха, для спасения заговорщиков. Успех был верный, если бы не изменили два злодея. Сироцинский, по словам Росоловского, был человек гениальный и великой душевной силы. Он и умер героем и мучеником. И Росоловский ровным, спокойным басом стал рассказывать подробности казни, на которой он, по

приказанию начальства, должен был присутствовать вместе со всеми судившимися по этому делу.

Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной улицей, у каждого солдата в руке была гибкая палка такой высочайше утвержденной толщины, чтобы три только могли входить в дуло ружья. Первым повели доктора Шакальского. Два солдата вели его, а те, которые были с палками, били его по оголенной спине, когда он равнялся с ними. И видел это только тогда, когда он подходил к тому месту, где я стоял. То я слышал только дробь барабана, но потом, когда становился слышен свист палок и звук ударов по телу, я знал, что он подходит. И я видел, как его тянули за ружья солдаты, и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: «Не бейте больно, пожалейте». Но они всё били; когда его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, а его ташили. Страшно было смотреть на его спину. Я зажмурился. Он упал, и его унесли. Потом повели второго. Потом третьего, потом четвертого. Все падали, всех уносили — одних замертво, других еле живыми, и мы всё должны были стоять и смотреть. Продолжалось это шесть часов — от раннего утра и до двух часов пополудни. Последнего повели самого Сироцинского. Я давно не видал его и не узнал бы: так он постарел. Всё в морщинах бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом. Он шел так же, как и все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву: «*Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam*»<sup>1</sup>.

— Я сам слышал, — быстро прохрипел Росоловский и, закрыв рот, засопел носом.

Лудвика, сидевшая у окна, рыдала, закрыв лицо платком.

— И охота вам расписывать! Звери — звери и есть! — вскрикнул Мигурский и, бросив трубку, вскочил со стула и быстрыми шагами ушел в темную спальню. Альбина сидела как окаменевшая, уставив глаза в темный угол.

---

<sup>1</sup> «Помилуй меня, боже, по великой милости твоей» (лат.).

## VIII

На другой день Мигурский, придя домой с учёня, был удивлен видом жены, которая, как в старину, легкими шагами, с сияющим лицом встретила его и повела в спальню.

— Ну, Юзё, слушай.

— Слушаю. Что?

— Я всю ночь думала о том, что рассказал Росоловский. И я решилась: я не могу жить так, не могу жить тут. Не могу. Я умру, но не останусь здесь.

— Да что же делать?

— Бежать.

— Бежать? Как?

— Я всё обдумала. Слушай, — и она рассказала ему тот план, который она придумала сегодня ночью. План был такой: он, Мигурский, уйдет из дома вечером и оставит на берегу Урала свою шинель и на шинели письмо, в котором напишет, что лишает себя жизни. Поймут, что он утопился. Будут искать тело, будут посылать бумаги. А он спрячется. Она так спрячет его, что никто не найдет. Можно будет прожить так хоть месяц. А когда всё уляжется, они убегут.

Затягивая ее в первую минуту показалась Мигурскому неисполнимой, но к концу дня, когда она с такой страстью и уверенностью убеждала его, он стал соглашаться с нею. Кроме того, он был склонен согласиться еще и потому, что наказание за неудавшийся побег, такое же наказание, как то, про которое рассказывал Росоловский, падало на него, Мигурского, успех же освобождал ее, а он видел, как после смерти детей тяжела ей была жизнь здесь.

Росоловский и Лудвика были посвящены в замысел, и после долгих совещаний, изменений, поправок план побега был выработан. Сначала хотели сделать так, чтобы Мигурский, после того как он будет признан утонувшим, бежал один, пешком. Альбина же выедет в экипаже и в условном месте встретит его. Такой был первый план. Но потом, когда Росоловский рассказал про все неудавшиеся попытки побегов последних пяти лет в Сибири (за всё время убежал и спасся только один счастливец), Альбина предложила другой план — тот, чтобы Юзё, спрятанный в экипаже, ехал с нею и Луд-

викою до Саратова. В Саратове же ему, переодетому, идти вниз по берегу Волги и в условном месте сесть в лодку, которую она наймет в Саратове и в которой поплывет вместе с Альбиной и Лудвикой вниз по Волге до Астрахани и через Каспийское море в Персию. План этот был одобрен всеми и главным устройтелем Рословским, но представлялась трудность устройства такого помещения в экипаже, которое не обратило бы на себя внимания начальства, а между тем могло бы вместить в себя человека. Когда же Альбина после поездки на могилу детей сказала Росоловскому, как ей больно оставлять прах детей на чужой стороне, он, подумав, сказал:

— Просите начальство о разрешении взять с собой гробы детей, вам разрешат.

— Нет, я не хочу, не хочу этого! — сказала Альбина.

— Просите. В этом всё. Мы не возьмем гробов, а для них сделаем большой ящик и в ящик положим Юзефа.

В первую минуту Альбина отвергла это предложение: так ей неприятно было связывать обман с воспоминанием о детях, но когда Мигурский весело одобрил этот проект, она согласилась.

Так что окончательный план выработался такой: Мигурский делает всё то, что должно убедить начальство, что он утопился. Когда смерть его будет признана, Альбина подаст прошение о том, чтобы ей после смерти мужа разрешено было вернуться на родину и взять с собой и прах детей. Когда же ей дадут и это разрешение, будет сделано подобие того, что могилы раскопаны и гробы взяты, но гробы оставят на месте, а вместо детских гробов в приготовленном для этого ящике поместится Мигурский. Ящик поставят в тарантас и так доедут до Саратова. От Саратова они сядут на лодку. В лодке Юзеф выйдет из ящика, и они поплывут до Каспийского моря. А там Персия или Турция и — свобода.

## IX

Прежде всего Мигурские купили тарантас под предлогом отправления Лудвики на родину. Потом началось устройство в тарантасе такого ящика, в котором, не задохнувшись, можно бы было, хотя и скорчившись, лежать и из которого можно бы было скоро и незаметно

выходить и опять влезать. Втроем, Альбина, Росоловский и сам Мигурский, придумывали и прилаживали ящик. В особенности важна была помощь Росоловского, который был хороший столяр. Ящик был сделан так, что, утвержденный на дрожины позади кузова, он плотно приходился к кузову, и стенка, приходившаяся к кузову, отваливалась так, что человек, вынув стенку, мог лежать частью в ящике, частью на дне тарантаса. Кроме того, в ящике были провернуты дыры для воздуха, и сверху и с боков ящик должен был быть покрыт рогожей и увязан веревками. Входить и выходить из него можно было через тарантас, в котором было сделано сиденье.

Когда тарантас и ящик были готовы, еще до исчезновения мужа, Альбина, чтобы приготовить начальство, пошла к полковнику и заявила, что муж ее впал в меланхолию и покушался на самоубийство и она боится за него и просит на время отпустить его. Способность ее к драматическому искусству пригодилась ей. Выражаемое ею беспокойство и страх за мужа были так естественны, что полковник был тронут и обещал сделать всё, что может. После этого Мигурский сочинил письмо, которое должно было быть найдено за обшлагом его шинели на берегу Урала, и в условный день, вечером, он пошел к Уралу, дождался темноты, положил на берегу одежду, шинель с письмом и тайно вернулся домой. На чердаке, запиравшемся замком, было приготовлено для него место. Ночью Альбина послала Лудвику к полковнику заявить о муже, что он, выйдя из дома двадцать часов назад, не возвращался. Утром ей принесли письмо мужа, и она, с выражением сильного отчаяния, в слезах, отнесла его полковнику.

Через неделю Альбина подала прошение об отъезде на родину. Горе, выражаемое Мигурской, поражало всех, видевших ее. Все жалели несчастную мать и жену. Когда отъезд ее был разрешен, она подала другое прошение — о позволении откопать трупы детей и взять их с собою.

Начальство подивилось на эту сентиментальность, но разрешило и это.

На другой день после получения и этого разрешения вечером Росоловский с Альбиной и Лудвикой в наемной телеге с ящиком, в который должны были быть вложены гробы детей, приехали на кладбище, к могиле детей. Альбина, опустившись на колени у могил детей, помолит-



лась и скоро встала и, наклонившись, обращаясь к Росоловскому, сказала:

— Делайте то, что надо, а я не могу, — и отошла в сторону.

Росоловский с Лудвикой сдвинули надгробный камень и вскопали лопатой верхние части могилы, так что могила имела вид раскопанной. Когда всё было сделано, они кликнули Альбину и с ящиком, наполненным землей, вернулись домой.

Наступил назначенный день отъезда. Росоловский радовался успеху доведенного почти до конца предприятия, Лудвика напекла на дорогу печений и пирожков и, приговаривая свою любимую поговорку: «*jak тате кошат*», говорила, что у ней сердце разрывается от страха и радости. Мигурский радовался и своему освобождению с чердака, на котором он просидел больше месяца, и больше всего — оживлению и жизнерадостности Альбины. Она как будто забыла всё прежнее горе и все опасности и, как в девичье время, прибегая к нему на чердак, сияла восторженною радостью.

В три часа утра пришел казак-проводящий и привел ямщика и тройку лошадей. Альбина с Лудвикой и собачкой сели в тарантас на подушки, покрытые ковром. Казак и ямщик сели на козлы, Мигурский, одетый в крестьянское платье, лежал в кузове тарантаса.

Выехали из города, и добрая тройка понесла тарантас по гладкой, как камень, убитой дороге между бесконечной, непаханой, поросшей прошлогодним серебристым ковылем степью.

## Х

Сердце замирало в груди Альбины от надежды и восторга. Желая поделиться своими чувствами, она изредка, чуть улыбаясь, указывала Лудвике головой то на широкую спину казака, сидевшего на козлах, то на дно тарантаса. Лудвика с значительным видом неподвижно смотрела перед собой и только чуть-чуть морщила губы. День был ясный. Со всех сторон расстилалась безграничная пустынная степь, блестящая серебристым ковылем на косых лучах утреннего солнца. Только то с той, то с другой стороны жесткой дороги, по которой, как по асфальту, гулко звучали некованные, быстрые ноги баш-

кирских коней, виднелись бугорки насыпанной земли сусликов; на задуге сидел сторожевой зверок и, предупреждая об опасности, пронзительно свистел и скрывался в нору. Редко встречались проезжие: обоз казаков с пшеницей или конные башкиры, с которыми казак бойко перекидывался татарскими словами. На всех станциях лошади были свежие, сытые, и полтинники на водку, которые давала Альбина, делали то, что ямщики гнали, как они говорили, по-фельдъегерски — вскачь всю дорогу.

На первой же станции, в то время как прежний ямщик увел, а новый не приводил еще лошадей и казак вошел во двор, Альбина, перегнувшись, спросила мужа, как он себя чувствует, не нужно ли ему что.

— Превосходно, покойно. Ничего не нужно. Легко пролежу хоть двое суток.

К вечеру приехали в большое село Дергачи. Для того чтобы муж мог расправить члены и освежиться, Альбина остановилась не на почтовом, а на постоялом дворе и тотчас же, дав деньги казаку, послала его купить ей молока и яиц. Тарантас стоял под навесом. На дворе было темно, и, поставив Лудвику караулить казака, Альбина выпустила мужа, накормила его, и до возвращения казака он опять влез в свое потаенное место. Послали опять за лошадьми и поехали дальше. Альбина чувствовала всё больший и больший подъем духа и не могла удержать своего восторга и веселости. Говорить ей было больше не с кем, как с Лудвикой, казаком и Трезоркой, и она забавлялась ими. Лудвика, несмотря на свою некрасивость, при всяком отношении с женщиной тотчас же подозревавшая в этом мужчине любовные на нее виды, подозревала теперь это самое по отношению к здоровенному, добродушному казаку-уральцу, с необыкновенно ясными и добрыми голубыми глазами, который провожал их и который был особенно приятен обеим женщинам своей простотою и добродушной ласковостью. Кроме Трезорки, на которого Альбина грозилась, не позволяя ему нюхать под сиденьем, она теперь забавлялась Лудвикой и ее комическим кокетством с не подозревающим приписываемые ему намерения, добродушно улыбающимся на всё, что ему говорили, казаком. Альбина, возбужденная и опасностью, и начинающим осуществляться успехом дела, и чудной погодой, степным воздухом, испытывала давно не испытанное ею чувство дет-

ского восторга и веселья. Мигурский слышал ее веселый говор и тоже, несмотря на скрываемую им физическую тяжесть своего положения (особенно жарко ему было, и жажда его мучила), забывая о себе, радовался на ее радость.

К вечеру второго дня стало виднеться что-то в тумане. Это был Саратов и Волга. Казак своими степными глазами видел и Волгу и мачты и указывал их Лудвике. Лудвика говорила, что видела тоже. Но Альбина ничего не могла разобрать и только нарочно громко, чтобы слышал муж, говорила:

— Саратов, Волга,— и, как будто разговаривая с Трезором, рассказывала мужу Альбина всё то, что она видела.

## XI

Не въезжая в Саратов, Альбина остановилась на левой стороне Волги, в слободе Покровской, против самого города. Здесь она надеялась в продолжение ночи успеть переговорить с мужем и даже вывести его из ящика. Но казак во всю короткую весеннюю ночь не отходил от тарантаса и сидел подле него в стоявшей под навесом пустой телеге. Лудвика, по распоряжению Альбины, сидела в тарантасе и, будучи вполне уверена, что казак ради нее не отходит от тарантаса, мигала, смеялась и закрывала свое рябое лицо платком. Но Альбина не видела уж в этом ничего веселого и все больше и больше тревожилась, не понимая, для чего казак так неотлучно держался около тарантаса.

Несколько раз в короткую ночь с зарей, сливающейся с зарей, Альбина выходила из горницы постоянного двора мимо вонючей галереи на заднее крыльцо. Казак всё еще спал и, спустив ноги, сидел на стоявшей подле тарантаса пустой телеге. Только перед рассветом, когда петухи уже проснулись и перекликались с двора на двор, Альбина, сойдя вниз, нашла время переговорить с мужем. Казак храпел, развалившись в телеге. Она осторожно подошла к тарантасу и толкнула ящик.

— Юзѐ! — Ответа не было.— Юзѐ!, Юзѐ!— с испугом громче проговорила она.

— Что ты, милая, что?— с сонным голосом проговорил Мигурский из ящика.

— Что ты не отвечал?

— Спал,— проговорил он, и она по звуку голоса узнала, что он улыбался.— Что же, выходить?— спросил он.

— Нельзя, казак тут,— и, сказав это, она взглянула на казака, спящего в телеге.

И удивительное дело, казак храпел, но глаза его, добрые голубые глаза, были открыты. Он смотрел на нее и, только встретившись с ней взглядом, закрыл глаза.

«Показалось это мне или точно он не спал?— спросила себя Альбина.— Верно, показалось»,— подумала она и опять обратилась к мужу.

— Потерпи еще немного,— сказала она.— Поесть хочешь?

— Нет. Курить хочу.

Альбина опять взглянула на казака. Он спал.

«Да, это показалось мне»,— подумала она.

— Я теперь посуду к губернатору.

— Ну, час добрый...

И Альбина, достав из чемодана платье, пошла в горницу переодеваться.

Переодевшись в свое лучшее вдовье платье, Альбина переехала Волгу. На набережной она взяла извозчика и поехала к губернатору. Губернатор принял ее. Хорошенькая, мило улыбающаяся вдова-полька, прекрасно говорящая по-французски, очень понравилась молодящемуся старику губернатору. Он всё разрешил ей и просил ее приехать еще завтра к нему, чтобы получить от него приказ к городничему в Царицын. Радуясь и успеху своего ходатайства и тому действию ее привлекательности, которое она видела в манере губернатора, Альбина, счастливая и полная надежд, возвращалась под гору по немощеной улице на долгушке к пристани. Солнце взошло уже выше леса и косыми лучами играло и на рябящей воде огромного разлива. Справа и слева по горе виднелись как белые облака, облитые пахучим цветом яблони. Лес мачт виднелся у берега, и паруса белели на играющем на солнце, рябщем от ветерка разливе. На пристани, разговорившись с извозчиком, Альбина спросила, можно ли нанять лодку до Астрахани, и десятки шумливых, веселых лодочников предложили ей свои услуги и лодки. Она сговорилась с одним из лодочников,

больше других понравившимся ей, и пошла смотреть его лодку-косовушку, стоявшую в тесноте других лодок у пристани. На лодке была устанавливаемая небольшая мачта с парусом, так что можно было идти ветром. В случае безветрия были весла и два здоровые, веселые бурлака — гребца, сидевшие на солнце в лодке. Веселый, добродушный лоцман советовал не оставлять тарантас, а сняв с него колеса, поставить на лодку. «Как раз устаете, и вам покойней сидеть будет. Даст бог погоду, дней в пяток до Астрахани добежим».

Альбина сторговалась с лодочником и велела ему прийти в Покровскую слободу, на Логинов постоянный двор, чтобы посмотреть тарантас и получить задаток. Всё удалось лучше, чем она ожидала. В самом восторженно-счастливом состоянии Альбина переехала Волгу и, разочтясь с извозчиком, направилась к постоянному двору.

## XII

Казак Данило Лифанов был из Стрелецкого Умета на общем Сырту. Ему было тридцать четыре года, и он отслуживал последний месяц своего срока казацкой службы. У него в семье был старик, девяностолетний дед, помнящий еще Пугачева, два брата, сноха старшего брата, за старую веру сосланного в каторгу в Сибирь, жена, две дочери и два сына. Отец его был убит на войне с французами. Он был старшим в доме. У них во дворе было шестнадцать коней, два цабана быков и было распахано и засеяно пшеницей своей вольной земли пятнадцать сотенников. Он, Данило, служил в Оренбурге, в Казани и теперь кончил срок. Он твердо держался старой веры: не курил, не пил и не ел из одной посуды с мирскими и также строго держался присяги. Во всех своих делах он был медлительно-твердо обстоятелен, и на то, что ему поручено было делать от начальства, употреблял все свое внимание и не забывал ни на минуту, пока не исполнил всего, как он понимал, своего назначения. Теперь ему велено было проводить до Саратова двух полячек с гробами так, чтобы над ними дорогой ничего худого не сделали, чтобы они ехали смирно, никаких шалостей не делали, и в Саратове честь честью

сдать их начальству. Так он и доставил их до Саратова и с собачонкой и со всеми с гробами ихними. Бабы были смиренные, ласковые, хотя и полячки, а ничего худого не делали. Но тут, в Покровской слободе, ввечеру, он, проходя мимо тарантаса, увидел, что собачонка вспрыгнула в тарантас и там стала визжать и хвостом махать, и из-под сиденья тарантаса ему показался чей-то голос. Одна из полячек, старая, увидев собачонку в тарантасе, испугалась чего-то, схватила собачонку и унесла.

«Что-то тут есть», — подумал казак и стал примечать. Когда молодая полячка вышла ночью к тарантасу, он притворился, что спит, и явственно услышал мужской голос из ящика. Рано утром он пошел в полицию и заявил о том, что полячки, какие ему поручены, не добром едут, а вместо мертвых везут какого-то живого человека в ящике.

Когда Альбина в своем восторженно-веселом настроении, уверенная в то, что теперь всё кончено и они через несколько дней будут свободны, подошла к постоялому двору, она с удивлением увидела у ворот щегольскую пару с пристяжкой на отлете и двух казаков. В воротах толпился народ, заглядывая во двор.

Она была так полна надежды и энергии, что ей в голову не пришла мысль о том, что эта пара и толпившийся народ имеют отношение к ней. Она вошла во двор и, в одно и то же время взглянув под тот навес, где стоял ее тарантас, увидела, что народ толпится именно около ее тарантаса, и в то же мгновение услышала отчаянный лай Трезорки. Случилось то самое ужасное, что только могло случиться. Перед тарантасом, блестя своим чистым мундиром, с сияющими на солнце пуговицами и полупогонами и лаковыми сапогами стоял осанистый, с черными бакенбардами человек и говорил что-то громко хриплым, повелительным голосом. Перед ним, между двумя солдатами, в крестьянском наряде, с сеном в спутанных волосах, стоял ее Юзё и, как бы недоумевая о том, что вокруг него делалось, поднимал и опускал свои могучие плечи. Трезорка, не зная того, что он был причиной всего несчастья, ошетилившись, беспечно-озлобленно лаял на полицмейстера. Увидав Альбину, Мигурский вздрогнул, хотел подойти к ней, но солдаты удержали его.

— Ничего, Альбина, ничего, — проговорил Мигурский, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

— А вот и барынька сама! — проговорил полицейстер. — Пожалуйте сюда. Гробы ваших младенцев? А? — сказал он, подмигивая на Мигурского.

Альбина не отвечала и только, схватившись за грудь, раскрыв рот, с ужасом смотрела на мужа.

Как это бывает в предсмертные и вообще решительные в жизни минуты, она в одно мгновение перечувствовала и передумала бездну чувств и мыслей и вместе с тем не понимала еще, не верила своему несчастью. Первое чувство было знакомое ей давно — чувство оскорбленной гордости при виде ее героя-мужа, униженного перед теми грубыми, дикими людьми, которые держали его теперь в своей власти. «Как смеют они держать его, этого лучшего из всех людей, в своей власти?» Другое чувство, одновременно с этим охватившее ее, было сознание совершившегося несчастья. Сознание же несчастья вызвало в ней вспоминание о главном несчастье ее жизни, о смерти детей. И сейчас же возник вопрос: за что? за что отняты дети? Вопрос же: за что отняты дети? вызвал вопрос: за что теперь гибнет, мучится любимый, лучший из людей, ее муж? И тут же она вспомнила о том, какое ждет его позорное наказание, и то, что она, она одна виновата в этом.

— Кто он вам? Муж он вам? — повторил полицейстер.

— За что, за что?! — вскрикнула она и, закатившись истерическим хохотом, упала на снятый теперь с козел и стоявший у тарантаса ящик. Вся трясущаяся от рыданий, с залитым слезами лицом Лудвика подошла к ней.

— Паненка, милая паненка! Як бога кохам, ничего не будет, ничего! — говорила она, бессмысленно водя по ней руками.

На Мигурского надели наручники и повели со двора. Увидав это, Альбина побежала за ним.

— Прости, прости меня! — говорила она. — Всё я! Я одна виновата!

— Там разберут, кто виноват. И до вас дело дойдет, — сказал полицейстер и рукою отстранил ее.

Мигурского повели к переправе, и Альбина, сама не зная, зачем она делала это, шла за ним и не слушала уговаривающую ее Лудвику.

Казак Данило Лифанов во всё это время стоял у колеса тарантаса и мрачно взглядывал то на полицмейстера, то на Альбину, то себе на ноги.

Когда Мигурского увели, оставшийся один Трезорка, махая хвостиком, стал ласкаться к нему. Он привык к нему во время дороги. Казак вдруг отслонился от тарантаса, сорвал с себя шапку, швырнул ее изо всех сил наземь, откинул ногой от себя Трезорку и пошел в харчевню. В харчевне он потребовал водки и пил день и ночь, пропил всё, что было у него и на нем, и только на другую ночь, проснувшись в канаве, перестал думать о мучившем его вопросе: хорошо ли он сделал, донеся начальству о полячкином муже в ящике?

Мигурского судили и приговорили за побег к прогнанию сквозь тысячу палок. Его родные и Ванда, имевшая связи в Петербурге, выхлопотали ему смягчение наказания, и его сослали на вечное поселение в Сибирь. Альбина поехала за ним.

Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он, умирая, искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все силы.



## ПИСЬМА К С. А. ТОЛСТОЙ

89.

*1871 г. Июня 15. Каралык.*

Пишу тебе несколько слов, потому что устал и нездоровится. Устал я потому, что только что проехал последние 130 верст до Каралыка. Башкирцы мои все меня узнали и приняли радостно; но, судя по тому, что я увидал с вечера, у них совсем не так хорошо, как было прежде. Землю у них отрезали лучшую, они стали пахать, и большая часть не выкочевывает из зимних квартир. Я поместился, однако, в кибитке, купил собаку за 15 рублей и собираюсь с терпением выдержать свой искуc, но ужасно трудно. Тоска, и вопрос: за чем занесло меня сюда, прочь от тебя и детей и найду ли я тебя и их такими же, какими оставил. Впрочем, нынче устал и не в духе.

Каждую неделю надеюсь получать известия.

Прощай, душенька, обнимаю тебя.

*15 Июня*

91.

*1871 г. Июня 23. Каралык.*

С радостью пишу тебе хорошие вести, милый друг, о себе, т. е. что два дня после последнего письма моего к тебе, где я жаловался на тоску и нездоровье, я стал себя

чувствовать прекрасно, и совестно, что я тебя тревожил. Не могу, по привычке, ни писать, ни говорить тебе того, что не думаю. Мучительно только то, что завтра две недели, как я из дома, и ни слова еще не получал от тебя. Ужас берет, как я подумаю и живо представляю тебя и детей, и все, что с вами может случиться.

В том, что я не получал писем, никто не виноват, кроме местности, — 130 верст непочтового тракта. Завтра будет неделя, что поехал посланный башкир, который должен был вернуться в воскресенье, — нынче среда, и его нет.

Теперь я узнал новый мой адрес, который и приложу в конце. Пиши через раз: один раз в Самару, другой раз по новому адресу. Когда я получу письма, я напишу, какой адрес лучше.

То, па что я жаловался — тоска и равнодушие прошли; чувствую себя приходящим в скифское состояние, и все интересно и ново. Скуки не чувствую никакой, но вечный страх и недостаток тебя, вследствие чего считаю дни, когда кончится мое оторванное, неполное существование. 6 недель я, день в день, выдержу, и потому к 5 Августа думаю, и не смею говорить и думать, думаю быть дома. Но что будет дома? Все ли целы, все ли такие же, какими я оставил. Главное, ты. Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа. Я купил лошадь за 60 рублей, и мы ездим с Степой. Степа хорош. Иногда очень восторжен и все с значительным видом ругает Петербург, иногда пристаёт, и мне его жалко, потому что ему все-таки скучно, и жалко, что он не в Ясной. Рассказывать вообще я буду тебе много и буду сердиться, что ты слушаешь, как пищит Маша, а не то, что я говорю. Будет ли это? и когда? Я стреляю уток, и мы ими кормимся. Сейчас ездили верхом за дрофами, как всегда, только спугнули, и на волчий выводок, где башкирец поймал волчонка. Я читаю по-гречески, но очень мало. Самому не хочется. Кумыс лучше никто не описал, как мужик, который на днях мне сказал, что мы на траве, — как лошади. Ничего вредного самому не хочется: ни усиленных занятий, ни курить (Степа меня отучает от курения и дает мне, все убавляя, теперь уже по 12 папирос в день), ни чая, ни позднего сиденья.

Я встаю в 6, в 7 часов пью кумыс, иду на зимовку, там живут кумысники, поговорю с ними, прихожу, пью чай с Степой, потом читаю немного, хожу по степи в одной рубашке, все пью кумыс, съедаю кусок жареной баранины, и, или идем на охоту, или едем, и вечером, почти с темнотой, ложимся спать.

Ты мне велела посмотреть, каковы удобства жизни и путешествия. Я все спрашивал здесь о земле, и мне предлагали землю здесь по 15 р. за десятину, которые приносят 6% без всяких хлопот, а нынче один священник написал письмо о земле, 2500 десятин, по 7 рублей, которая кажется очень выгодною. Я завтра поеду смотреть.

И так как вообще очень может быть, что я куплю эту землю или другую, то я прошу тебя прислать мне билет Купеческого банка, который может понадобится для задатка (посредством перевода через Самарский банк).

Сон здесь больше всего меня сближает с вами. Первые ночи видел тебя, потом Сережу. Портрет детей показываю башкирцам и башкиркам. Что Таня и нянька? Саша верно уехал. Я очень жалел, что не вышло с ним перед разлукой, и не сказал ему, что если между нами пробегали кошки, то теперь я очень рад, что мы расстались с ним совсем друзьями.

Что моя надѣжа Любовь Александровна? Я теперь уступил бы ей здоровья своего. Что шталмейстер милый и девочки? Вариньку вспоминал вчера при виде табунов в горах в вечернем освещеньи.

Во сне я видел, что Сережа шалит и что я на него сержусь, на яву, верно, это напротив.

Сережа!

Напиши мне, как ты живешь? Ездишь ли верхом, и часто ли тебя бранят или хвалят мама и Ганна, и сколько у тебя за поведенье? Целую тебя.

Таня!

Тут есть мальчик. Ему 4 года и его зовут Азис, и он толстый, круглый, и пьет кумыс, и все смеется. Степа его очень любит и дает ему карамельки. Азис этот ходит го-

лый. А с нами живет один барин, и он очень голоден, потому что ему есть нечего, только баранина. И барин этот говорит: хорошо бы съесть Азиса,— он такой жирный. Напиши, сколько у тебя в поведеньи. Целую тебя.

Илюша!

Попроси Сережу, он прочтет тебе, что я напишу.

Нынче башкирец поехал верхом и увидел трех волков. И он ничего не испугался и прямо с лошади прыгнул на волков. Они стали кусать его. Он пустил двух, а одного поймал и привез к нам. И нынче ночью, может быть, придет мать этого волка. И мы тогда ее будем стрелять. Целую тебя. Поцелуй от меня обе гети и Левочку, и Машу, и Ганне кланяйся, и Наталье Петровне, и няне и еще поди гулять на деревню и скажи Ивановым детям и его жене, что Иван здоров и разговаривает с башкирами по-татарски и очень на них кричит, а они его не боятся и над ним смеются.

Прощай, душенька, целую тебя.

Адрес неопределен. Пиши по старому.

93.

*1871 г. Июня 27. Каралык.*

Нынче утром, 27 числа, получил первое твое письмо от 13-го. Вероятно, послано оно 14-го из Тулы, и ты получила мое первое. Получение письма от тебя это маленькое свидание: то же чувство нетерпения, радости и страха, когда берешь его в руки, как когда подъезжаешь к дому.

Вчера писал тебе второпях, через мужика, который делал мне услугу и сидел, ждал. Нынче пишу спрехвала. Письмо поедет только 29 с верным человеком. Здоровье мое не дурно, но не могу сказать, что хорошо — ломается. На днях напал кашель, и бок заболел, теперь само совершенно прошло. Изредка бывает и лихорадочное состояние, но меньше и реже, и сил больше, и духом бодрее гораздо. Я жду хорошего. Опишу тебе наше жи-

тье. — Башкирская деревня, зимовка, в двух верстах. На кочевке, в поле у реки, только три семейства башкир.

У нашего хозяина (он мулла) четыре кибитки; в одной живет он с женой и сын с женой (сын Нагим, кот[орого] я оставил мальчиком тот раз, в другой гости. Гости беспрестанно приезжают — муллы — и с утра до ночи дуют кумыс. В третьей кибитке два кумысника: довольно противный полуполяк, таможенный чиновник, Петр Станиславич, к[оторого] очень уважает Иван, и болезненный богатый донской казак, тоже неприятный господин. В 4-й огромной кибитке, кот[орая] была мечеть прежде и кот[орая] протекает вся (что мы испытали вчера ночью), живем мы. Я сплю на кровати на сене и войлоке. Степа на перине на полу, Иван на кожане в другом углу. Есть стол и один стул. Кругом висят вещи. В одном углу буфет и *продукты*, как, по выражению Ивана, называется провизия, в другом платье, уборная, в 3-м библиотека и кабинет. Впрочем, так было сначала, теперь все смешалось. В особенности куры, к[оторых] мы купили и кот[орых] мне ни с того, ни с сего подарил один поп, портят порядок. Зато тут же, при нас, каждый день несут по 3 яйца. Еще лежит овес для лошади и собака — прекрасный черный сетер, — называется Верный. Лошадь буланая и служит мне хорошо. Я встаю очень рано, часто в 5½ (Степа спит до 10). Пью чай с молоком, 3 чашки, гуляю около кибиток, смотрю возвращающиеся из гора табуны, что очень красиво, — лошадей 1000, все разными кучками с жеребятами. Потом пью кумыс, и самая обыкновенная прогулка — зимовка, т. е. деревня; там остальные кумысники, все, разумеется, знакомые. 1) управляющий гр[афа] Уварова, в очках, с бородой, старый, степенный; московский студент, — самый обыкновенный и потому скучный; товарищ прокурора, маленький, в блузе, определительно говорит, оживляется, когда об судечь, не неприятный. Его жена знает Томашевского и студентов; курит, и волосы короткие, но не глупая; помещик Муромский, молодой, красивый, некончивший курс в Москве. Все, даже Степа, зовет его Костя. Очень симпатичный. Все эти составляют одну компанию. Потом другая компания. Поп, почти умирающий (очень жалок), профессор семинарии греческого. Степа его возненавидел, говорит, что он верно ставит 1 всем, и буфетчик из Перми. Все наши друзья. Потом брат с сестрой, ка-

жется, купцы, смиренные, и как купцы, все равно, что их нет. Я с Степой правильно два раза в день отправляюсь ко всем, и к башкирцам знакомым, не забывая буфетчика, и кроме того одну большую делаю поездку или прогулку. Обедаем мы каждый день баранину, кот[орую] мы едим из деревянной чашки руками. Для утешенья Степы я купил в Самаре пастилы и мармелада, и он *продукты* эти употребляет в десерт.

Земля здесь продается Тучкова, в 30 верстах. Длинно рассказывать, как и что, но эта покупка очень выгодна. При хорошем урожае может в два года окупиться имение. 2500 дес[ятин], просят по 7 [рублей] за дес[ятину], и, купивши, надо положить до 10 000 на устройство.

Ни при какой покупке у меня не было такой решительности, как при этой. Я написал поверенному в Самаре и просимую цену намерен дать. Разумеется, прежде хочу твоего одобрения.

Для того, чтобы именье принесло доход и окупилось, нужно лето будущее прожить в нем.

Вчера я ездил к будущему соседу, — Тимрот, лицеист, с женой и 5 детьми. И не могу тебе сказать, с каким удовольствием и грустью немного, я видел чайный стол, дети. Один в коклюше, няни. Одним словом, Европа. Домик маленький, стоит весь 600 р[ублей], посаженный садик, тени никакой, но степной воздух, купанье, кумыс, верховая езда. То же было бы у нас. Местность этой земли живописная, — гористая, кроме леса. Вода будет везде, где запрудить пруд.

Я тебе писал прислать банковый билет в Самаре. Если ты не посылала, то подожди. Тогда, если буду покупать, можно будет телеграфировать.

Нынче мы едем с Степой на своей лошади, на дрогах в Бузулук на ярмарку. Отсюда 90 верст. Для покупки здесь именья особенно соблазняет простота, и честность, наивность и ум здешнего народа. Ничего похожего нет с нашими иорниками. Заманчиво тоже здоровый климат и простота хозяйственных присмов.

Доход получается здесь в 10 раз против нашего, а хлопот и трудов в 10 раз меньше.

Прощай, душенька, голубчик; когда поцелую тебя? — Целую всех.

*1871 г. Июля 8—9. Каралык.*

Вчера был счастливый день. Я измучался ожиданием писем, и приехавший башкирец из Самары объявил, что писем нет, а взял их какой-то русский. Русский мог быть приказчик с хутора или приказчик от Тимрота, которым я обоим поручил быть на почте. Я оседлал лошадь и поехал к обоим. У одного — нет. Приезжаю к Тимрот. Приехал приказчик? — Нет. — Но барыня ездила в Самару и привезла вот какую гору писем, говорит мне мужик. Мне есть? — Все вам. — Прихожу, действительно 4 письма твои, одно от Лизы, прекрасное, премилое письмо Урусова и Фета два. Я читал их тут же на дворе, и навивный мужичок идет мимо: «что, правда, бугор писем?» Твоя карточка тут же. Мне очень была и есть (потому что часто смотрю) приятна. Хотя первое впечатление было неприятное. Ты показалась мне и стара, и худа, и жалка. Впрочем, после разлуки всегда и портрет, и лицо само человека, которого не любишь, а больше что-то (как я тебя), производит впечатление разочарования. В воображении своем вижу я тебя всегда точно такую, какая ты есть, но совершенную. А действительность не совершенна. Теперь я помирился с портретом, и он мне приятен, и очень.

Письма твои все перечел раза три. Пиши, пожалуйста, чаще и больше. Хотя не скоро приходят, но с адресом в Самару они все дойдут только за неделю до моего отъезда, т. е. с 24 Июля, остановись писать, а напиши 25, 26 (положим, в Нижний, на почту, до востребования, а 27, 28 в Москву до востребования).

Все у вас, судя по письмам, хорошо, кроме няни и Левочки; но это уже прошло совсем, надеюсь, и ничто не заменило это. Лиза прекрасно мне все описала. Письмо это, разумеется, застанет тебя без мамá. Тут я немного трушу за тебя, за это время. —

Жизнь наша все по-прежнему. Степа ходит на охоту, убил утку и турухтана, я несколько дней не совсем здоров; бок и желудок или печень, как всегда, но все это слабее при кумысе. Вчера, ездивши за письмами, я сделал поездку верст в 40, и от Тимрот поехали со мной верхом М-те Тимрот и молодой лицеист, кончивший

курс, Бистром. У Тимрот иноходец, и я в первый раз видел даму на настоящем иноходце. — Шибко скакать надо, чтобы не отставать. И если будем живы, здоровы, достану тебе иноходца. Красиво, быстро и покойно, как в люльке. Степа скучает, хотя стыдно здесь скучать ему. Выдь с ружьем, в 2 часа 20 раз выстрелишь. А в озерах кумысники ловят на удочку, и не переставая клюет. Они в полчаса наловили 30 окуней. Я ни того, ни другого не делаю эти дни; гуляю и играю в шашки с башкиром, Михаилом Иванычем. Погода здесь такая, о какой мы в Туле не имеем понятия. Жар приятный, и дождь, грозы, кот[орые] никогда не сделают грязи больше, чем на полчаса. Лето жить здесь лучше на дворе, чем у нас в дурном доме.

О покупке земли дело не подвигается, потому что поверенный, с к[оторым] надо иметь дело, не в Самаре, а приедет 15-го. Покупка эта выгоды баснословной, как и все покупки здесь. — Это все расскажу на словах. Целую всех. Тебя, душенька, обнимаю, целую. Я писал это письмо, не зная, с кем пошлю, поэтому, вероятно, напишу еще, когда буду посылать. 9-го, приписываю на другой день. Письмо пойдет завтра. Здоровье нынче совсем хорошо, и нынче мы в Бистромом едем к дальним башкирам и на охоту. В понедельник, 12, буду писать еще. Меня очень обрадовало то, что ты к Маше стала нежнее. Я так ее очень люблю, и мне грустно было, что ты к ней была холодна.

Портрет твой похож на мученицу, но все-таки я ему рад.

97.

*1871 г. Июля 16—17. Каралык.*

Давно я тебе не писал, милый друг. Виноват немного я, но больше судьба. Я пропустил один случай писать, и с тех пор каждый день мне обещают: «вот поедет, вот поедет», и я все откладывал, 5 дней, но теперь уж не могу более терпеть и посылаю нарочного. Последнее письмо я писал тебе, кажется, 10-го или 9-го перед отъездом. Мы действительно поехали; так называемый Костинька, барон Бистром, юноша, немчик, только что кон-



чивший курс в лице с медалью, Степа и я, на паре лошадей, в корзинке плетеной (здесь все так ездят), без проводника и кучера. Мы сами не знали, куда мы едем, и по дороге у встречных спрашивали: не знают ли они, куда мы едем? Мы ехали собственно кататься по тем местам, где есть кумыс, и стрелять, имея только смутное понятие о каком-то Иргизе, Камелике. Поездка наша продолжалась 4 дня и удалась прекрасно. Дичи пропасть, девать некуда — уток и есть некому, и башкиры, и места, где мы были, и товарищи наши были прекрасные.

Меня, благодаря моему графскому титулу и прежнему моему знакомству с Столыпиным, здесь все башкиры знают и очень уважают. Принимали нас везде с гостеприимством, которое трудно описать. Куда приезжаешь, хозяин закалывает жирного курдючного барана, ставит огромную кадку кумысу, стелет ковры и подушки на полу, сажает на них гостей и не выпускает, пока не съедят его барана и не выпьют его кумыс. Из рук поит гостей и руками (без вилки) в рот кладет гостям баранину и жир, и нельзя его обидеть.

Много было смешного. Мы с Костинькой пили и ели с удовольствием, и это нам, очевидно, было в пользу, но Степа и барон были смешны и жалки, особенно барон. Ему хотелось не отставать, и он шил, но под конец его вырвало на ковры, и потом, когда мы на обратном пути намекнули, не заехать ли опять к гостеприимному башкиру, так он чуть не со слезами стал просить, чтобы не ездить. Из этого ты можешь видеть, что здоровье мое хорошо. Немножко болел бок это время; но слабо, и теперь совсем прошел. Главное то, что тоски помину нет и что я теперь впился в кумыс и вошел в настоящее кумысное состояние, т. е. с утра до вечера немного пьян кумысом, и иногда целые дни ничего не ем или чуть-чуть. Погода здесь чудная. Во время поездки был дождь; но теперь три дня жара ужасная, но мне приятная. Степа теперь уж не скучает и, кажется, потолстел и возмужал. Многих бы я привез сюда. Тебя, Сережу, Ганну. Как меня мучает ее болезнь. Избави бог, как она разболится, как летось. С тех пор, как ты мне написала о Бибикове, я каждый день смотрю по дороге и жду его. Если бы он приехал, я бы был очень счастлив и угостил бы его всем тем, что он любит, и наверно предпринял бы поезд-

ку в Уфу (все по башкирам), 400 верст, и оттуда уже прямо бы вернулся на пароходе по реке Белой в Каму и из Камы в Волгу. Теперь я этой поездки, хотя и мечтаю о ней, почти наверно не сделаю. Боюсь, что она задержит меня хоть на день приездом домой. С каждым днем, что я врозь от тебя, я все сильнее, и тревожнее, и страстнее думаю о тебе, и все тяжеле мне. Про это нельзя говорить. Теперь остается 16 дней. Поездка же в Уфу интересна мне потому, что дорога туда идет по одному из самых глухих и благодатнейших краев России. Можешь себе представить, что там земля, в которой леса, степи, реки, везде ключи, и земля нетронутый ковыль с сотворения мира, родящая лучшую пшеницу, и земля только в 100 верстах от пароходного пути продается башкирцами по 3 рубля за десятину. Ежели не купить, то мне хотелось очень посмотреть эту змлю. Дело о покупке здешней земли не подвигается. Я написал Саше в Петербург, чтоб он торговал у Тучкова, и здешнему поверенному Тучкова в Самару, но ни от того, ни от другого не получал ответа. Стороной до меня дошли слухи, что хотят теперь просить дороже 7 рублей. Если так, то я не куплю. Ты знаешь, я во всем предоставляю решение судьбе. Так и в этом.

После моего последнего письма я получил еще два письма от тебя. Хотел написать, душенька, пиши чаще и больше; но на это мое письмо едва ли ты успеешь ответить мне иначе, как в Нижний. Письма твои, однако, мне уж вероятно вреднее всех греков тем волнением, которое они во мне делают. Тем более, что я их получаю вдруг. Я не могу их читать без слез, и весь дрожу, и сердце бьется. И ты пишешь, что придет в голову; а мне *каждое слово* значительно, и все их перечитываю. Два известия твои очень грустны: это то, что я не увижу мамá, если не поеду к Лизе и не увезу ее опять к нам, что я намерен сделать, и главное, что милый друг Таня угрожает уехать до меня. Это было бы очень грустно. Что ты не пишешь о тетеньке Татьяне Александровне. Получил я еще по письму от Урусова и Фета и буду им отвечать. На письмо Офенберга я все не решил, что отвечать; но и торопиться не к чему, так как адрес его в Варшаву только до 18. Я хочу однако отвечать ему следующее: предложить ему 90 000, которые он просит, но с рассрочкой, без процентов, на 2½, три года, по 30 тысяч.

Поцелуй очень Лизу милую и за тебя, и за меня, и чтоб она не сердилась, если я не успею в этом жару и хмелю постоянном отвечать на ее письмо, которое доставило мне огромное удовольствие. — Целуй всех, даже Дмитрия Алексеевича, если он у вас с своими, и несмотря на то, что он тебя и Таню дразнит. Таню успокой. Если муж хороший, а ее муж хороший, то от разлуки несобходимой, — ничего не будет, кроме того, что больше оценит и сильнее полюбит, и найдет маленькая влюбленная грусть, которая жене должна быть приятна. От неверности же в разлуке дальше гораздо, чем когда вместе; потому что в разлуке есть в душе идеал *своей*, с которым ничто не может сравниться. Это все и к тебе относится. Чтобы Варя написала. Мы зато с Степой рассказывать много будем. Радуюсь, что pas-de-géants<sup>1</sup> стоят, но сам живо представить себе не могу, как это у вас идет. Представляю только, как Илья падает.

Ах, только дай бог, чтобы без меня все так же хорошо было до конца, как по последним письмам. Прощай, милый голубчик, обнимаю тебя. И все нервы расстроены. Сейчас плакать хочется, так тебя люблю.

*16 Июля*

17 Июля вечером. Приписываю. Здоров совершенно. Считаю дни. Писем от тебя не привез башкир. Ему не дали, потому что Жан слишком усерден и написал дурацкую записку на почту. Надеюсь завтра.

98.

*1871 г. Июля 20. Каралык.*

Вчера опять ездил к Тимроту и опять получил твои письма, — три, — от 4, 7 и 10-го. Как и всегда, пробежал последнее, убедился, что все хорошо, и оставил остальные для дома. Читал их до 12 часов ночи и долго не мог заснуть. У тебя слишком все хорошо без меня по твоим письмам, так что страх меня берет. Особенно страшно мне за то время, что ты осталась одна с детьми и тетиньками.

---

<sup>1</sup> Шаг-гигант (франц.).

Здоровье мое хорошо. Боюсь сказать; но кажется мне, что я поправился и потолстел. Нервы мои окрепли наверное. Одно, что бок болит изредка, хотя и очень слабо. В кумыс я только что впился. Пью его с бóльшим удовольствием, чем прежде. Да и притом у нас с нынешнего дня захолодало. Ясное солнце и сильный холодный ветер. И кумыс до того вкусен, что нельзя себе представить. Степа и тот говорит, что это чудо.

Нынче едут профессор и поп. Завтра уезжает Костинька. Нам остается неделя. Я строго выдержу 6 недель и выеду утром 28 (заметь). Вчера узнал, что от Саратова до Аткарска открыта дорога. И, вероятно, я поеду на Саратов. Этим путем я выгадаю день и миную толпу ярмарки, которая теперь во всем разгаре. Я тебе, вероятно, телеграфирую, когда буду ехать с пути.

Покупка здесь Тучковской земли все не подвигается. Нет ответа. Притом письмо Офенберга, к[оторому] я отвечал, что даю 90 000 (купчую пополам), рассрочив по 30000 на два года, и твое мнение, враждебное к этой покупке, меня очень охладил. Все будет, как бог даст. Только понятие твое о степи ложное. Жить без дерева за 100 верст в Туле ужасно; но здесь другое дело: и воздух, и травы, и сухость, и тепло делают то, что полюбишь степь. Ты представь себе, что в 5 недель мы не видали грязи, не чувствовали сырости и холоду. Выгода же покупки здесь баснословна, но немного рискована. Можно получить в один год назад всю цену покупки, а при неурожае, как нынешний год, получить убыток рублей в 1000.

Ну, да все это буду тебе рассказывать, а ты будешь думать о другом, а я буду сердиться. Ты мною должна быть довольна. Я строго исполняю 6 недель и не позволю себе уклонений от лечения. В Стерлебаше Оренбургской губернии за 320 верст отсюда, где прелестная земля с лесом, степями и видами продается по 3 [рубля] и где все населено башкирами, куда меня очень подмывало ехать, я не поеду, боясь, что это расстроит лечение. Нынче окончательно решил, что не еду. Дня же лишнего тебя не видать я ни за что не просрочу. Так-то мне тяжела семейная жизнь и крики детей, как ты предполагаешь. Жду не дождусь, когда услышу дуэты Лели и Маши. Радуюсь, что она поправилась.

Илюшу поздравляю и целую. Для Сережи, Тани и Илюши привезу что-нибудь татарское, если поеду через Нижний. А нынче вспомнил и просил Степу собрать здешних трав, чтобы и тебе дать понятие о степи. Все-то ездят; одна ты, бедная, милая, сидишь. Мы выдумаем с тобой что-нибудь. — Я затеял рисовать здесь. Читать, особенно греческое, не читается (порадуйся) и нарисовал двух башкиров: отца и сына. Отец Михаил Иванович уморительный башкир, к[оторый] обыгрывает нас в шашки и делает нам нужники. У него было 14 братьев; у самого его теперь 11 сыновей, ему 55 лет, и 2 жены молодые, и он не отказывается с нами бегать в перегонки. Вчера мы с ним купались, и его три сына. Один 6-летний сын, Костюк, схватится за шею старшему 15-летнему сыну, и тот с ним по страшной глубине плавает и ныряет сажень на три. Кумыс удивительный напиток. Здесь было человек 10 больных самых разнородных, и положительно все поправились, кроме одного священника, к[оторый] нынче едет и едва ли проживет до зимы. Он присхал умирающий.

Прощай, душенька. Недолго. Завтра напишу последнее письмо с Каралыка. Целую тетиньку, детей и племянниц, и свояченицу, если она с тобой.

181.

*1881 г. Июля 25. Хутор на Моче.*

Завтра — воскресенье, и утром едет нарочный в Самару. Как я ни скуп, не могу удержаться от этой роскоши получить от тебя, надеюсь уж — письма. До сих пор, вот 13 день, не получал еще. Я пишу 3-е письмо. Сережа совсем поправился, я здоров, и питье кумыса идет хорошо. С последнего письма ни особых впечатлений у меня не было, ни поездок никуда не предпринимал. Послезавтра поеду в Землянки. Будет самая горячая наемка. Я буду зритель только, потому что не вмешиваюсь ни в какие хозяйственные дела. Они идут хорошо. Я два последние дня два раза начинал Петину историю, и все не могу попасть в колею. Я надеюсь, что пойдет, и если пойдет, то будет хорошо. — Жизнь здесь тихая, спокойная. — Лизавет[а] Алекс[андровна] угощает и все старается, чтоб было похоже, как она знает, у нас, в Ясном.

и в самом деле очень добра. — Сережа был больше, чем я думал сначала. У него был кровавый понос. Лечение его, я думаю, ты бы одобрила. Теплую подушечку от кареты на живот, клистир из крахмала с опиумом и опиум внутрь по 10 капель 2 раза. — Диета — куриный бульон и чай с сухарями. Он 3 дня почти лежал и вероятно скучал ужасно. Ты знаешь, как он молчалив и брюзглив. Он меня помучал, но теперь он совсем хорош; но охотно сам держит диету. — Нищета здесь зимой была ужасная; теперь видны следы голода. В тот день как мы приехали, у Вас[илия] Ив[ановича] в сенях, по его словам, умирала девочка, сестра его девочки няньки — годовая. Он думал, что она в ночь умрет. Ее лечили, а главное — поили молоком, и она ожила. Мать девочки говорила, что зимой у ней 10-летний мальчик умер с голоду. Это не совсем правда, но не совсем и неправда. Несколько ночей я спал очень дурно от жара в комнатах, особенно при кумысе. Теперь стал спать на балконе наверху, и чудесно. Бабай<sup>1</sup>, караульщик бывший на бахчах, караулит у дома и ездит на старом мерине, Турсуке, за мукой. Это милейшее 70-летнее дитя природы. Пост песни татарские тонким голоском всю ночь и барабанит в лад в старое ведро. «Ведро ж... кончал», как он говорит.

Старого Турсука он ужасно любит. «Турсук пирог ашал». Он его кормит и никому не дает, и мечта его в том, чтобы ему подарили осенью Турсука, он бы на нем приехал домой и там бы его съел.

Все эти дни налаживали мельницу на конный привод, но она не пошла. Я каждый день делаю большую прогулку пешком или верхом. Стояли страшные жары, а теперь второй день пасмурно, и нынче дождь.

На тульской станции мы встретили Мит[ашу] Оболенского. Я ему мельком сказал: «приезжайте в Самару». А он говорит: «je v[ou]s prends au mot<sup>2</sup>, я приеду». Надеюсь, что если он вздумает поехать, он тебе даст знать или заедет к тебе. Это было бы прекрасно. Я нравствен-

---

<sup>1</sup> Ба бай (башк.) — старик; дед, дедушка.

<sup>2</sup> Я вас ловлю на слове (франц.).

но, слава богу, все такой же, как был, — немножко потупее; но физически, кажется, крепче и подвижнее.

Прощай, милая, расти потихоничку свое брюхо, цыплят оберегай, но не изводи себя тревогами, беспокойствами — если можно. Целую всех и кланяйся всем. Помни, что твоя жизнь прекрасная.

*На конверте:* В Тулу. Графине Софье Андреевне Толстой.

## КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

Художественные произведения Л. Н. Толстого и письма печатаются по юбилейному Полному собранию сочинений (1928—1958) в 90 томах и Собранию сочинений в двадцати томах (1960—1965). Для комментариев и примечаний использованы материалы, имеющиеся в этих изданиях.

**Метель.** Л. Н. Толстой работал над этим рассказом в 1856 г. и завершил его 11 февраля. Замысел рассказа возник у писателя еще 24 января 1854 г., когда, возвращаясь с Кавказа, он попал в Донской степи в снежную метель. Впервые опубликован в апрельской книжке журнала «Современник» за 1856 г.

**Из записок князя Д. Нехлюдова.** Люцерн. Написан 9—18 июля 1857 г. В основу рассказа положен случай из жизни Толстого, происшедший с ним во время пребывания в Швейцарском городе Люцерне. Впервые напечатан в том же году в сентябрьской книжке журнала «Современник».

Стр. 48. *В нашем парижском пансионе...* — Имеется в виду пансион, в котором Толстой жил во время посещения Парижа в феврале-апреле 1857 г.

Стр. 50. *Тиролец.* — Толстой так называет швейцарского певца, вероятно, потому, что он пел старинные тирольские народные песни, отличающиеся мелодичностью и разнообразием.

Стр. 65. *Англичане убили еще тысячу китайцев...* — Имеется в виду то, что в 1856 г. английское правительство, без формального объявления войны, послало к берегам Китая флот, который обстрелял и разрушил целый ряд городов, и началась кровопролитная война.

Стр. 65. *Французы убили еще тысячу кабиллов...* — В 1857 г. произошло окончательное покорение французской армией так называемой Великой Кабилии, лежащей в северной части Алжира и населенной многочисленным племенем кабиллов, оказывавших в течение ряда лет героическое сопротивление захватчикам.

**Поликушка.** Повесть написана в 1861—1862 гг. Впервые напечатана в 1863 г. в февральской книжке журнала «Русский вестник».



Стр. 70. *Я недавно видел, как лорд Пальмерстон...* — В 1861 г. Толстой ездил в Англию, где побывал на заседании Палаты общин и слышал речь премьер-министра Пальмерстона в защиту ассигнований на нужды военного флота.

Стр. 113. *Показывающий альбиноску или Юлию Пастрану...* — В пятидесятых годах XIX в. из Западной Европы в Россию приводились альбиносы и «бородатая женщина» Ю. Пастрана и демонстрировалась в качестве «Чудес природы».

**Кавказский пленник.** Рассказ написан в марте 1872 г. и впервые опубликован во втором номере журнала «Заря» за тот же год. Затем был включен в «Четвертую русскую книгу для чтения», изданную Толстым в 1875 г. В основу рассказа легли военные эпизоды на Кавказе, отчасти связанные с жизнью самого Толстого. В дальнейшем рассказ неоднократно перерабатывался писателем.

Стр. 123. *Татары.* — Так во времена Толстого называли многие народы и народности Кавказа.

**Ильяс.** Рассказ написан 17—18 марта 1885 г. в Крыму. Толстой живо интересовался жизнью тамошних жителей, поэтому в первоначальном варианте повествование разворачивается среди крымских татар. Но вскоре место действия автор переносит в знакомую ему башкирскую степь. В следующей рукописи писатель уточняет место действия рассказа: «Жил в Уфимской губернии башкирец Ильяс».

Впервые рассказ напечатан в 1886 г. в сборнике «Царь Крез и учитель Солон и другие рассказы», состоявшем из произведений Толстого, а также некоторых других авторов. В том же году рассказ включен в «Сочинения гр. Л. Н. Толстого (М., 1886, часть двенадцатая).

**Много ли человеку земли нужно.** Рассказ написан в мае или июне 1885 г. Тема рассказа связана, с одной стороны, с работами писателя по изучению греческого языка, в частности, чтением в подлиннике Геродота; с другой — с жизнью Толстого в башкирских кочевьях. Близко общаясь с башкирами, писатель увидел в них сходство со скифами Геродота. Все казалось Толстому в Башкирии «ново и интересно»: «и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа» (Письмо к С. А. Толстой от 23 июня 1871 г.— См. стр. 311 настоящего издания).

Рассказ впервые напечатан в апрельском номере журнала «Русское богатство» за 1886 г. В рукописях сохранилось три варианта рассказа.

**После бала.** Рассказ был написан за две недели: с 6-го по 20-е августа 1903 г. В нем нашли отражение действительные события, которые Толстой описывал еще в статье «Николай Палкши» (1886).

Впервые рассказ опубликован в книге «Посмертные художественные произведения Льва Николаевича Толстого под редакцией В. Черткова», т. I, (М., 1911).

Стр. 163. *Добрый сын Ноя...* — По библейским сказаниям, допотопный Ной, опьянев, заснул обнаженным; сын его Хам, смеясь, рассказал об этом старшим братьям Симу и Яферу, а те, почтительно относившиеся к отцу, прикрыли его наготу.

**Хаджи-Мурат.** Л. Н. Толстой начал писать повесть в 1896 г. и с перерывами работал над ней до января 1905 г. С большими цензурными купюрами впервые опубликована в «Посмертных художественных произведениях Льва Николаевича Толстого» т. III, (М., 1912). Полностью, без цензурных пропусков, напечатана в том же 1912 г. в третьем томе берлинского издания «Посмертных художественных произведений Л. Н. Толстого».

Повесть написана на основе личных впечатлений писателя и многочисленных исторических документов, печатных и архивных источников. Большинство персонажей «Хаджи-Мурата» — реально существовавшие лица.

Стр. 175. *Воронцов* — князь Семен Михайлович Воронцов (1823—1882), сын наместника Кавказа Михаила Семеновича Воронцова, командир Куринского егерского полка.

Стр. 182. *Ротный командир Полторацкий* — Владимир Алексеевич Полторацкий (1828—1889), подпоручик. Толстой, работая над повестью, использовал и его «Воспоминания».

Стр. 210. *Мюрат Иоахим* (1771—1815) — маршал Наполеона.

Стр. 212. *Клюки-фон-Клюгенау Франц Карлович* (1791—1851) — генерал-лейтенант, командовал войсками в Северном Дагестане.

Стр. 216. *Лорис-Меликов Михаил Тариелович* (1825—1888) — адъютант М. С. Воронцова, впоследствии крупный русский государственный деятель.

Стр. 217. *Кази-Мулла* (1794—1832) — первый имам Чечни и Дагестана, объявивший «священную» войну мусульман против «неверных». В 1832 г. был окружен в Гимрах войсками под командованием Розена и убит.

Стр. 220. *Мансур Хасс Мохамед* — мусульманский проповедник на Кавказе.

Стр. 233. *Захар Чернышев*. — Захар Григорьевич Чернышев (1797—1862), граф, декабрист, член Северного тайного общества.

Стр. 238. *План Ермолова*. — Алексей Петрович Ермолов (1777—1861), генерал, с 1817 по 1827 г. был главноуправляющим в Грузии; находился в оппозиции к режиму Александра I. Недовольный его «медлительностью» в войне с Персией, Николай I фактически отстранял его от командования.

Стр. 264. *Барятинский*. — Александр Иванович Барятинский (1814—1879), князь, генерал, один из главных деятелей кавказской войны, с 1856 г. — наместник Кавказа.

Стр. 283. *Карганов Иосиф Иванович* — уездный воинский начальник г. Нухи. В его доме перед побегом жил Хаджи-Мурат.

**За что?** — Рассказ написан в январе-апреле 1906 г. Впервые опубликован в том же году в издании «Круг чтения» (т. II, М.). Впоследствии неоднократно пересдывался.

Источником рассказа послужил труд писателя-этнографа С. В. Максимова «Сибирь и каторга» (1871), в котором, в частности, повествуется о трагической судьбе ссыльного поляка Мигурского и его жены Альбины.

Стр. 287. *Самодурство Константина*. — В ноябре 1815 г. Александр I подписал конституцию для Польши. Она провозглашала формальное равенство всех перед законом, свободу печати и вероисповедания, учреждала двухпалатный сейм и правительство во

главе с генералом Зайончеком. Но фактическим наместником-диктатором стал брат царя Константин.

Стр. 291. *Дибич и Паскевич* — генералы, командовавшие армией, подавлявшей восстание поляков.

**Письма из Башкирии.** Под таким названием в сборнике публикуются отдельные письма Толстого к жене Софье Андреевне, отправленные им из башкирских степей, куда он неоднократно приезжал на кумысолечение.

**Письмо от 15 июня 1871 г.** — впервые опубликовано в книге «Письма графа Л. Н. Толстого к жене. 1862—1910» (М., 1913).

Стр. 310. Первая поездка Л. Н. Толстого на Каралык относится к 1862 г. Второй раз на Каралык писатель выехал 10 июня 1871 г. и, как видно из настоящего письма, прибыл в башкирское кочевье через пять дней. Его сопровождал брат Софьи Андреевны — Степан Берс (1855—1910), в то время шестнадцатилетний юноша.

**Письмо от 23 июня 1871 г.** Впервые полностью опубликовано в той же книге «Письма графа Л. Н. Толстого...».

Стр. 312. *Маша* — Мария Львовна Толстая (1871—1906), вторая дочь Толстого.

Стр. 313. *...иду на зимовку...* — В деревню Каралык, находящуюся в двух верстах от летнего кочевья.

Стр. 313. *...Серезю* — Сергея Львовича Толстого (1863—1947), старшего сына писателя.

Стр. 313 *Таня и нянька.* — Таня — Т. А. Кузминская, сестра С. А. Толстой; нянька — немка Линдгольн, присланная Толстым из Москвы в няньки.

Стр. 313. *Саша* — А. М. Кузминский, муж Т. А. Кузминской.

Стр. 313. *Любовь Александровна* — Берс (1826—1886), мать Софьи Андреевны.

Стр. 313. *шталмейстер милый и девочки.* — Девочки — дочери М. Н. Толстой: В. В. Толстая и Е. В. Оболенская. Шталмейстер — князь Л. Д. Оболенский, муж Е. В. Оболенской.

Стр. 313. *Ганна* — Ханна Тарсей, гувернантка.

Стр. 313. *Таня* — Татьяна Львовна Толстая, старшая дочь Л. Н. Толстого.

Стр. 313. *Азис* — мальчик-башкир, внук Мухамедшаха. С. А. Толстая в письме от 6 июля 1871 г. писала: «Приписываю тебе в детской больших детей, где они ложатся спать и только что с большим волнением приклеивали на свои письма картинки с мыслью, что ты эти картинки отдашь маленькому Азису, и он будет рад». (С. А. Толстая, «Письма к Л. Н. Толстому. 1862—1910» Изд. «Академия», 1936).

Стр. 314. *Илюша* — Илья Львович Толстой (1866—1933), второй сын Л. Н. Толстого.

Стр. 314. *Левочка* — Лев Львович Толстой (1869—1945), третий сын писателя.

Стр. 313. *Наталья Петровна* — Охотницкая, приживалка у Толстых.

Стр. 314. *Няня* — Мария Афанасьевна Арбузова, с 1863 по 1900 год была няней детей Толстого.

Стр. 314. *Иван* — Иван Васильевич Суворов, слуга, сопровождавший Толстого на кумыс.

**Письмо от 27 июня 1871 г.** Отрывок из письма опубликован в 1906 г. (Бирюков П. И. «Лев Николаевич Толстой. Биография», т. II, М.); полностью — в 1913 г. («Письма графа Л. Н. Толстого...»).

Стр. 315. *тот раз* — в 1862. г.

Стр. 315. *Граф Уваров* — очевидно, Алексей Сергеевич Уваров (1828—1884), Можайский предводитель дворянства.

Стр. 315. *Его жена знает Томашевского и студентов...* — Анатолий Константинович Томашевский — учитель одной из школ, находившихся в ведении Толстого в начале 60-х гг. Студенты работали у Толстого в Ясной Поляне в 1861—1862 гг.

Стр. 315. *Премещик Муромский* — из Владимирской губернии.

Стр. 316. *Тучков* (1834—1893) — сын московского генерал-губернатора П. А. Тучкова.

Стр. 316. *Тимрот* — самарский адвокат Егор Александрович Тимрот.

**Письмо — от 8—9 июля 1871 г.** Впервые опубликовано в 1913 г. («Письма графа Л. Н. Толстого...»).

Стр. 317. *Лиза* — Елизавета Валерьяновна Оболенская, дочь М. Н. Толстой.

Стр. 317. *Урусов* — Сергей Семенович Урусов (1827—1897), генерал.

Стр. 317. *Фет* — Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) — известный русский поэт.

Стр. 317. *Твоя карточка* — С. А. Толстая была сфотографирована во время болезни после рождения дочери Маши, в чепце, с бритой головой.

Стр. 317. *Письмо... застанет тебя без мамы.* — Любовь Александровна Берс собиралась к дочери Елизавете Андреевне Павленковой.

Стр. 317. *М-те (madame)* Тимрот — жена Е. А. Тимрота, Софья Павловна.

Стр. 318. *Бистром* — барон Николай Родригович Бистром, сын Р. Г. Бистрома, генерал-лейтенанта, у которого в 1878 г. Толстой купил землю в Самарской губернии.

Стр. 318. *Михайло Иваныч.* — С. А. Берс писал о нем в своих воспоминаниях: «На Каралыке Льва Николаевича больше всех развлекал шутник, худошавый, вертлявый и зажиточный башкирец, Хаджимурат, а русские его звали Михайлом Ивановичем». (Воспоминания о Толстом», Смоленск, 1894, стр. 54).

**Письмо от 16—17 июля 1871 г.** Отрывок из письма опубликован в 1906 г. (Бирюков П. И. «Лев Николаевич Толстой. Биография», т. II, М.); полностью — в 1913 г. («Письма графа Л. Н. Толстого...»).

Стр. 319. *Костинька* — муромский помещик.

Стр. 319. *Большой Ирғиз* — река, впадающая в Волгу.

Стр. 319. *Камелик* — левый приток Ирғиза, южнее Каралыка.

Стр. 319. *Столпын Аркадий Дмитриевич (1821—1899)* — генерал, приятель Толстого по Севастопольской кампании. Толстой встретился с ним во время своего пребывания на Каралыке в 1862 г.

Стр. 319. *мучает ее болезнь.* — С. А. Толстая сообщала в своем письме от 30 июня о тяжелой болезни Ханны Тарсей.

Стр. 319. *...написала о Бибикове.* — С. А. Толстая писала 1 июля: «К тебе собирается на кумыс Александр Николаевич Бибиков».

Стр. 320. *...Саша* — Александр Андреевич Берс (1845—1918), брат жены Толстого.

Стр. 321. *Лиза* — Е. В. Оболенская; в то время она жила в Ясной Поляне.

Стр. 321. *Таня угрожает уехать до меня.*— Т. А. Кузминская собиралась уехать к мужу в Кутаиси.

Стр. 321. *Оффенберг* — полковник лейбгвардии гусарского полка барон Федор Иванович Оффенберг (1839—1872).

Стр. 321. *Дмитрий Алексеевич* — Дьяков, родственник Толстых.

Стр. 321. *Варя* — Варвара Валерьяновна Толстая, дочь сестры Л. Н. Толстого Марии Николаевны.

Стр. 321. *Jean* — Иван Васильевич Суворов, слуга.

**Письмо от 20 июля 1871 г.** Впервые опубликовано в 1913 г. («Письма графа Л. Н. Толстого...»)

Стр. 321. *Особенно страшно мне за то время, что ты осталась одна с детьми и тетиньками.*— В письме от 4 июля С. А. Толстая писала: «Мамá мне ужасно жаль, что она уезжает, я в ней чувствую опору, защиту, утешение. После тебя только с ней и возможна была бы жизнь».

Стр. 322. *Профессор* — профессор греческого языка в семинарии.

Стр. 322. *Стерлебаш* — башкирская деревня при р. Стерле, в 50 км от Стерлитамака, ныне районный центр Башкирской АССР.

Стр. 323. *Илюшу поздравляю...*— 20 июля были именины Ильи, сына Толстого.

Стр. 323. *Свояченица* — Татьяна Андреевна Кузминская.

**Письмо от 25 июля 1881 г.** Впервые опубликовано в 1913 г. («Письма графа Л. Н. Толстого...»).

В середине июля 1881 г. Л. Н. Толстой с сыном Сергеем приехал в свой хутор на реке Моча, купленный у башкир. (Моча — левый приток Волги, протекающий в самарских степях).

Стр. 323. *Землянки* — село в 15 км от хутора Толстого.

Стр. 323. *Петина история.*— Рассказ «Чем люди живы», обещанный для детского журнала «Детский отдых», издававшегося П. А. Берсом. Рассказ был напечатан в № 12 журнала за 1881 г.

Стр. 323. *Лизавета Александровна* — жена Василия Ивановича Алексеева (1848—1919), с октября 1877 г. по 1881 г. жившего у Толстых в качестве учителя старших детей.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>М. Рахимкулов, С. Сафуанов. «Башкиры меня знают и очень уважают...»</i> . . . . .	<b>5</b>
--	----------

### Повести и рассказы

Метель . . . . .	17
Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн . . . . .	45
Поликушка . . . . .	69
Кавказский пленник . . . . .	122
Ильяс . . . . .	145
Много ли человеку земли нужно . . . . .	149
После бала . . . . .	160
Хаджи-Мурат . . . . .	170
За что? . . . . .	287

### Письма из башкирских степей

С. А. Толстой. 15 июня 1871 г. . . . .	311
С. А. Толстой. 23 июня 1871 г. . . . .	311
С. А. Толстой. 27 июня 1871 г. . . . .	314
С. А. Толстой. 8—9 июля 1871 г. . . . .	317
С. А. Толстой. 16—17 июля 1871 г. . . . .	318
С. А. Толстой. 20 июля 1871 г. . . . .	321
С. А. Толстой. 25 июля 1881 г. . . . .	323
Комментарии и примечания . . . . .	326

*Лев Николаевич Толстой*

**Повести и рассказы**

Оформление серии Г. Прокшина

Редактор *Л. Даминов*  
Художественный редактор *А. Астраханцев*  
Технический редактор *Н. Файзуллина*  
Корректоры *Т. Горьшова, Л. Семенова*

### **ИБ № 934**

Сдано в набор 14/V 1979 г. Подписано к печати 7/VIII 1979 г. Формат бумаги  $84 \times 108/_{32}$ . Бумага тип. № 3. Услови. печ. л. 17,64. Учетн.-издат. л. 17,58. Тираж 200 000 экз. Заказ № 203. Цена 1 руб. 50 коп.

Башкирское книжное издательство, Уфа-25, ул. Советская, 18.

Уфимский полиграфкомбинат Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров БАССР.

Уфа-1, проспект Октября, 2.



**В СЕРИИ «ЗОЛОТЫЕ РОДНИКИ»**

В 1979 ГОДУ  
БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ВЫПУСТИЛО СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
РУССКИХ И СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ,  
ЖИЗНЬЮ И ТВОРЧЕСТВОМ  
СВЯЗАННЫХ С БАШКИРИЕЙ:

**Д. Фурманов.**  
«Чапаев».

**С. Чекмарев.**  
«Уральская весна». Стихи, письма, дневники.

**Л. Толстой.**  
Повести и рассказы.

**В СЕРИИ «ЗОЛОТЫЕ РОДНИКИ»**

В 1980 ГОДУ  
БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ВЫПУСТИТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

**А. Чехов.**  
Повести и рассказы.

**М. Горький.**  
Рассказы.

**А. Платонов.**  
«Июльская гроза». Рассказы.

Scan Kreyder - 07.06.2019 - STERLITAMAK

Цена 1 руб. 50 коп.